ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Дени

ДИДРО

Монахиня



Монахиня
Дени Дидро

Аннотация
Дени Дидро. Монахиня

Аннотация

«…Замысел „Монахини“ (1760) вызревал постепенно под влиянием сенсационных разоблачений тайн, скрытых за монастырскими стенами, случаев дикого изуверства, особенно участившихся в конце 50-х годов XVIII века, во время очередного столкновения между сторонниками ортодоксальной римской церкви и янсенистами. Монастырский быт стал предметом общественного обсуждения. Дидро принял в этом самое активное участие…»

Дени Дидро
Монахиня

От ответа маркиза де Круамара — если только он мне ответит — зависит всё, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует — да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, — чтобы эти записки были за-

кончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, — этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, нежили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» — она никогда не относила этих слов на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы

оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной — словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя — откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева — а он был горяч, — некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги — все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, — кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь Св. Марии — мой первый монастырь — с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что

я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода: она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услыхав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже, — сказал отец Серафим, — ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель: вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро…» Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неопи-

суемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) На вас лица нет! Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» — но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне

об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства — великое искусство монахинь. Затем она сказала — и, право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что, — сказала она, — почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так! Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему — только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому — жить. Два года — немалый срок: мало ли что может случиться за это

время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. «Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило?»

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно — о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы — ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии — теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.



Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, подготовлял

меня, а епископ Алепский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало

внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не знаю, — сказала она, посмотрев на меня, — почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна — премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя[1] — урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну а теперь поговорим серьезно. Вы выиграли два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда, — это не так уж невозможно». — «Сударыня, об этом нечего и думать». — «Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и

[1] Примечания: 1

Марсель — знаменитый парижский учитель танцев.

отрады…»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же, — благодарение богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц — всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача — скрыть от вас все тернии монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду — и меня освобождали от церковной службы,

работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на

пятьдесят лет, — а быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья — в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой:

она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды — она переживала тогда критический возраст — ее сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она начиталась зловредных книг, которые и помутили ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна огненная; все они, монахини, просто несчастны из-за нее: ведь это неслыханный случай — иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она

молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вот письмо…»

При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом:

— От матушки?

— Вы угадали. Вот, прочтите…

Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица, я делала нервные движения: то я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя.

— Ну что же, дитя мое, что мы ответим на это?

— Сударыня, вы знаете сами.

— Да нет же, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны: ваше семейство понесло убытки. Дела ваших сестер расстроены, и у той, и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас: вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Впрочем, вы можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно: это — звание, к которому нас призывает бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье; ужели я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим

это вместе. Хотите вы стать монахиней?

— Нет, сударыня.

— Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию?

— Нет, сударыня.

— Вы не подчинитесь воле ваших родителей?

— Нет, сударыня.

— Кем же вы хотите быть?

— Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду.

— Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушке…

Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между тем ко мне поспешили направить монастырского духовника; ко мне прислали ученого богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей; меня поручили особому попечению наставницы; я увиделась с его преосвященством епископом Алепским; мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешались в мое дело, хотя я совсем их не знала; у меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками; приезжал отец, сестры присылали мне

письма, последней явилась мать — я выдержала все. Тем не менее день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все; когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него.

С этого момента я была заперта в келье; мне предписали молчание, разлучили меня со всем миром, предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собиралась сдаваться! Я была готова ко всему, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени может продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно окончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела — ни настоятельницы, ни наставницы и послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей: в действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласке, и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала, что они

хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней, раз таково их требование. Весь монастырь возликовал; снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания. Мое сердце вняло гласу божию, я создана для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все; нельзя исполнять свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница послушниц никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству, она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила настоятельнице, что надо проявить твердость — и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты: это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает; что я избавилась от него и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность; что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить...» Мне казалось

несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от бога, и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие — что они внушены мне богом. Одно и то же зло исходит либо от бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает.

Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом — он холодно говорил со мной. Виделась с матерью — она поцеловала меня. Получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий г-н Сорнен, викарий церкви Св. Роха, а г-н Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства: я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда через привратницу я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству; кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожидал,

не преминула явиться; пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложилась. Я сидела на кровати и призывала на помощь бога. Я поднимала руки к небу и молила его быть свидетелем совершаемого надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, представляла себе девушку, громко протестующую против обряда, на который она как будто сама согласилась, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. «О боже, что со мной будет?..» Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, у меня дрожали колени, зубы стучали. За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке распростертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была совершенно без сил. Мне

задали несколько вопросов, поняли по моим ответам, что я не имею никакого представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнения этого дня. Я ответила утвердительно, и, против всеобщего ожидания, обряд не был отменен.

Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забилось сердце. Пришли одевать меня. Этот день — день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молоденькой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смирение, которым я отнюдь не обладала, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастии, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие меж-

ду его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смутило меня, и я начала колебаться; но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец страшная минута наступила. Когда надо было стать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва, которую влекли к алтарю; со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей — я твердо уверена в этом. Все встали, некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал:

— Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?

— Обещаю.

— По доброй ли воле и желанию находитесь вы здесь?

Я ответила: «Нет», — но сопровождавшие меня

монахини ответили за меня: «Да».

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

С секунду я колебалась, священник ждал, и я ответила:

— Нет, сударь.

Он повторил:

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я ответила более твердым голосом:

— Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

— Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно.

— Отец мой, — сказала я ему, — вы спрашиваете, даю ли я богу обет целомудрия, бедности и послушания. Я хорошо расслышала вас и отвечаю: «Нет».

Затем, повернувшись к присутствовавшим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала:

— Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели…

При этих словах одна из сестер задернула решетку занавесом, и я увидела, что продолжать

бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками. Я слушала их, не говоря ни слова. Меня отвели в келью и заперли там на ключ.

Здесь, в одиночестве, отдавшись своим мыслям, я начала успокаиваться душой. Я еще раз обдумала свой поступок и ничуть не раскаялась в нем. Я решила, что после той огласки, которой я добилась, меня не смогут надолго оставить здесь и, пожалуй, не посмеют отдать в другой монастырь. Я не знала, что меня ожидает, но, по моему убеждению, ничто не могло быть хуже необходимости стать монахиней помимо воли. Довольно долгое время со мной никто не разговаривал. Женщины, приносившие мне еду, ставили ее на пол и молча уходили. Месяц спустя мне принесли мирскую одежду, и я сняла с себя монастырскую. Явилась настоятельница и велела мне следовать за ней. Я дошла с ней до монастырских ворот. Здесь я села в экипаж, где меня ожидала моя мать. Она была одна. Я села на переднее сиденье, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова. Глаза мои были опущены, и я не смела взглянуть на нее. Не знаю сама, что происходило в моей душе, но вдруг я бросилась к ногам матушки. Я не говорила ни слова, только рыдала и задыхалась. Она

сурово оттолкнула меня. Я не поднялась с колен, у меня пошла носом кровь. Несмотря на сопротивление, я схватила ее руку; орошая ее слезами и лившейся кровью, прижимаясь к ней губами, я целовала ее и говорила: «И все-таки вы моя мать, все-таки я ваша дочь…» Она ответила (оттолкнув меня еще суровее и вырвав руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, села на свое место и спустила чепец на лицо: в звуке ее голоса было столько властности и твердости, что мне захотелось укрыться от ее взгляда. Слезы и кровь, которая текла у меня из носа, смешались вместе, струились по рукам, и, сама того не замечая, я была вся залита ими. Из нескольких произнесенных матерью слов я поняла, что запачкала ей белье и платье и что она сердится на это. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную маленькую комнатку. На лестнице я снова бросилась к ногам матери, схватила ее за платье, но она только обернулась в мою сторону — это было все, чего я добилась, — и взглянула на меня, причем поворот ее головы, губы, глаза выразили такое негодование, которое я не в силах передать вам, но которое вы можете себе представить.

Я вошла в свою новую тюрьму, где пробыла

полгода, ежедневно умоляя, как о милости, разрешить мне поговорить с матерью, увидеться с отцом или написать им. Мне приносили пищу, убирали комнату. По праздникам служанка сопровождала меня к обедне, а потом снова запирала. Я читала, вышивала, плакала, иногда пела, и так проходили дни. Одно лишь тайное чувство поддерживало меня — чувство, что я свободна и что моя судьба, как тяжела она ни была, еще может перемениться. Однако было решено, что я стану монахиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно подтвердили мои подозрения относительно обстоятельств моего рождения: я никогда не могла найти иных причин, чтобы оправдать их. Очевидно, мать боялась, как бы в один прекрасный день я не заговорила о разделе имущества и не потребовала своей доли наследства, как бы внебрачная дочь не оказалась на одной доске с законными дочерьми. Однако тому, что было всего лишь догадкой, вскоре предстояло превратиться в уверенность.

Находясь под домашним арестом, я плохо выполняла церковные обряды, но все же в канун больших праздников меня посылали на исповедь. Я уже рассказывала вам, что у меня и у

матери был общий духовник. Я поговорила с ним, описала ему всю суровость, с какой обращались со мной в течение последних трех лет. Он знал об этом. С особенной горечью и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял духовный сан и еще не утратил человеколюбия. Он спокойно выслушал меня и сказал:

— Дитя мое, не порицайте свою мать, а лучше пожалейте. У нее добрая душа. Уверяю вас, она поступает так помимо воли.

— Помимо воли! Да кто же может ее принудить? Разве не она произвела меня на свет? И какая же разница между сестрами и мной?

— Большая.

— Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.

Я начала было сравнивать себя с сестрами, но он прервал меня и сказал:

— Довольно, довольно. Ваши родители не страдают пороком бесчеловечности. Постарайтесь терпеливо переносить вашу участь, это поможет вам снискать хотя бы милость господню. Я увижусь с вашей матушкой и, уверяю вас, употреблю все свое влияние на нее, чтобы помочь вам…

Этот ответ «большая» явился для меня лучом света. Теперь я более не сомневалась в том, что

догадки по поводу моего рождения были справедливы.

В ближайшую субботу, к концу дня, около половины шестого вечера, приставленная ко мне служанка поднялась ко мне и сказала: «Матушка приказывает вам одеться…» Через час: «Матушка велит вам ехать со мной». У подъезда я увидела экипаж, в который мы и сели — служанка и я. Я узнала, что мы едем в Фельянский монастырь, к отцу Серафиму. Он нас ждал. Он был один. Служанка удалилась, и я вошла в приемную. Я села, с тревогой и любопытством ожидая его слов. Вот что он мне сообщил:

— Мадемуазель, сейчас вы узнаете разгадку сурового обращения с вами ваших родителей. Я получил на это разрешение от вашей матушки. Вы рассудительны, у вас есть ум, твердость, вы сейчас уже в таком возрасте, когда вам можно было бы доверить тайну даже и в том случае, если бы она не имела к вам прямого отношения. Я давно уже уговаривал вашу матушку открыть вам то, что вы узнаете сегодня, но она никак не могла решиться на это: трудно матери признаться в тяжком грехе своему ребенку. Вам известен ее характер — ей нелегко примириться с унизительностью некоторых признаний. Она

полагала, что ей и без того удастся осуществить свои намерения касательно вас, но она ошиблась и расстроена этим. Сейчас она решила последовать моему совету и поручила мне сообщить вам, что вы не дочь господина Симонена.

— Я это подозревала, — ответила я быстро.

— Теперь, мадемуазель, подумайте, взвесьте, судите сами, может ли ваша матушка без согласия — или даже с согласия — вашего отца приравнять вас к другим дочерям, в то время как вы вовсе не сестра им; может ли она признаться вашему отцу в проступке, относительно которого у него и без того уже немало подозрений?

— Но кто же мой отец?

— Этого мне не открыли, мадемуазель. Ясно одно — что вашим сестрам даны огромные преимущества перед вами, что приняты все возможные меры предосторожности: брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фидеикомисы[2] и другие средства, чтобы свести к нулю причитающуюся вам по закону часть на тот случай, если бы когда-

---

[2] Примечания: 2

Фидеикомис (лат.) — буквально: порученное совести; институт римского права, перешедший в ряд европейских юридических систем Средневековья и нового времени. Согласно воле наследодателя, наследник по закону обязан выдать третьему лицу какую-либо вещь, или определенную долю наследства, или же все наследство целиком.

нибудь вы обратились в суд, желая ее получить. Если вы лишитесь родителей, вам достанется очень мало. Вы отказываетесь от монастыря. Быть может, настанет день, когда вы пожалеете, что не находитесь там.

— Этого никогда не будет, сударь; я ничего не требую.

— Вы не знаете, что такое лишения, труд, нищета.

— Зато я знаю цену свободы и гнет монашеского звания, когда к нему нет влечения.

— Я сказал вам все, что должен был сказать. Теперь, мадемуазель, вам надлежит самой хорошенько обдумать это…

Он встал.

— Еще один вопрос, сударь.

— Сколько вам будет угодно.

— Знают ли сестры то, о чем вы мне сообщили?

— Нет, мадемуазель.

— Как же они могли решиться ограбить сестру? Ведь они-то считают меня своей сестрой?

— Ах, мадемуазель, деньги, деньги! Ведь без денег им бы не сделать таких выгодных партий! Каждый думает о себе в этом мире, и я не советую вам рассчитывать на них в случае смерти роди-

телей. Не сомневайтесь, они будут до последнего гроша оспаривать у вас и ту жалкую долю, которую вам придется делить с ними. У них много детей; этого предлога будет вполне достаточно, чтобы довести вас до полной нищеты. К тому же сейчас они бессильны, все дела в руках их мужей. Если бы у ваших сестер и было некоторое чувство сострадания, то помощь, оказанная вам помимо мужей, превратилась бы в источник семейных раздоров. Я знаю немало подобных случаев — случаев, когда покинутым детям, а иногда даже и законным, помогают в ущерб домашнему миру. И, право, мадемуазель, хлеб, полученный таким путем, очень горек. Поверьте же мне — помиритесь с родителями и сделайте то, чего, очевидно, ждет от вас матушка: примите монашество. Вам будет выделена небольшая пенсия, которой вам хватит если не на вполне обеспеченное, то, во всяком случае, на сносное существование. К тому же не скрою от вас, что явное невнимание к вам со стороны вашей матери, ее упорное желание снова запереть вас в монастырь и еще кой-какие обстоятельства — не припомню сейчас, какие именно, в свое время они были мне известны — произвели на вашего отца точно такое же впечатление, как и на вас: если прежде у него

были сомнения относительно вашего рождения, то сейчас у него их нет, и, даже не будучи посвященным в тайну, он не сомневается в том, что вы являетесь его дочерью лишь постольку, поскольку закон считает вашим отцом лицо, являющееся законным супругом вашей матери. Вы добры и благоразумны, мадемуазель. Обдумайте же то, что вы только что узнали.

Я встала и залилась слезами. Видимо, и сам отец Серафим был растроган. Он кротко возвел глаза к небу и затем проводил меня. Я подозвала приехавшую со мной служанку, мы снова сели в экипаж и вернулись домой.

Был уже поздний час. Ночью я думала о том, что мне открыли, думала об этом и весь следующий день. Итак, у меня не было отца. Упреки совести отняли у меня и мать. Были приняты все предосторожности, чтобы я не могла претендовать на права законнорожденной; мне предстоял домашний плен, весьма и весьма суровый; никакой надежды, никакого выхода. Быть может, если бы со мной объяснились раньше, сразу же после замужества сестер, и оставили меня дома, где продолжали бывать знакомые, нашелся бы человек, которому мой характер, ум, внешность, мои способности показались бы достаточным

приданым. Такая возможность не была упущена и сейчас, но моя выходка в монастыре сильно осложняла дело: трудно представить себе, чтобы девушка семнадцати-восемнадцати лет могла пойти на такую крайность без исключительной силы воли. Мужчины очень хвалят это качество, но, как мне кажется, охотно мирятся с отсутствием его у тех, на ком они предполагают жениться. И все же надо было испробовать этот выход, прежде чем искать другой. Я решилась откровенно поговорить с матерью и попросила у нее свидания, на которое и получила согласие.

Это было зимой. Мать сидела в кресле перед камином. Лицо ее было сурово, взгляд неподвижен, она словно окаменела. Я подошла к ней, бросилась к ее ногам и попросила простить мне все мои вины.

— Я прощу вас, если увижу, что вы заслуживаете прощения, — ответила она. — Встаньте. Мужа нет дома, и вам вполне хватит времени, чтобы высказаться. Вы видели отца Серафима и знаете наконец, кто вы и чего можете от меня ждать. Надеюсь, что вы не собираетесь всю жизнь карать меня за мой проступок, который я и так уж достаточно искупила. Итак, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили?

— Матушка, — ответила я, — я знаю, что у меня ничего нет и что я не должна ни на что претендовать. Я вовсе не хочу увеличивать ваши мучения, какого бы рода они ни были. Быть может, вы нашли бы меня более покорной вашей воле, если бы раньше познакомили меня с некоторыми обстоятельствами, о которых мне трудно было догадаться, но теперь я знаю их, знаю, кто я, и мне остается лишь вести себя в соответствии с моим положением. Меня больше не удивляет разница в вашем отношении ко мне и к моим сестрам. Я признаю, что это справедливо, и подчиняюсь, но ведь все-таки я ваша дочь, вы носили меня в своем чреве и, надеюсь, никогда не забудете об этом.

— Пусть бог меня накажет, — с живостью воскликнула она, — если я не признавала вас своей дочерью, насколько это было в моей власти!

— Верните же мне свое расположение, матушка, — сказала я ей, — позвольте мне снова быть с вами, верните мне любовь того, кто считает себя моим отцом.

— Еще немного, — ответила она, — и он приобретет такую же уверенность относительно вашего рождения, как вы и я. Когда он осыпает вас упреками в моем присутствии — а это случа-

ется беспрестанно, — эти упреки, эта суровость по отношению к вам направлены против меня. Не ждите же от него нежных отцовских чувств… И кроме того, — сказать ли вам всю правду? — вы напоминаете мне такую гнусную измену, такую неблагодарность со стороны другого человека, что мысль об этом для меня невыносима. Он все время стоит между вами и мною, он ненавистен мне, и эта ненависть распространяется на вас.

— Как? — вскричала я. — Неужели я не могу надеяться, что вы и господин Симонен будете обращаться со мной хотя бы как с чужой, посторонней девушкой, которую вы приютили из милосердия?

— Мы оба не способны на это. Дочь моя, перестаньте отравлять мне жизнь. Не будь у вас сестер, я знала бы, как поступить, но у вас их две, и у обеих большие семьи. Поддерживавшая меня страсть давно угасла, и совесть вновь вступила в свои права.

— Однако тот, кому я обязана жизнью…

— Его нет больше. Он умер, не вспомнив о вас, и это еще наименьшее из его злодеяний…

Тут лицо ее исказилось, глаза засверкали негодованием, она хотела продолжать, но не могла произнести ни слова — так дрожали ее губы. Не

вставая со стула, она закрыла лицо руками, чтобы скрыть от меня клокотавшие в ней чувства. Несколько минут она сидела в такой позе, потом встала и молча зашагала по комнате. Наконец, с трудом удерживаясь от слез, сказала:

— Он — чудовище! Если вы не задохнулись в моем чреве от тех мук, которые он причинил мне, тут нет его заслуги; но бог сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда не будет. То немногое, что я могу для вас сделать, я делаю тайком от ваших сестер. Таковы последствия слабости. Однако я надеюсь, что мне не в чем будет себя упрекнуть, когда я буду умирать. С помощью строгой экономии я скоплю для вас вклад в монастырь. Я нисколько не злоупотребляю снисходительностью мужа, а просто изо дня в день откладываю, что могу, из щедрых подарков, которые он мне делает время от времени. Я продала свои драгоценности, и он разрешил мне располагать вырученной суммой по моему усмотрению. Я любила играть в карты — и не играю больше. Я любила театр — и лишила себя этого развлечения. Я любила общество — и живу затворницей. Я любила роскошь — и отказалась от нее. Если вы примете монашество, как того желаем мы

с господином Симоненом, — ваш вклад будет плодом моих каждодневных лишений.

— Но, матушка, ведь у вас в доме еще бывают состоятельные люди. Быть может, найдется человек, которому я понравлюсь настолько, что он даже не потребует сбережений, предназначенных вами для моего устройства.

— Теперь об этом нечего и думать, ваша выходка вас погубила.

— Неужели беда непоправима?

— Непоправима.

— Но если я и не найду супруга, неужели так необходимо, чтобы я заперлась в монастыре?

— Необходимо, если только вы не захотите продлить мои муки и угрызения совести до той минуты, когда я закрою глаза навек, — а она неотвратима. В этот страшный миг ваши сестры будут у моей постели. Судите сами, смогу ли я видеть вас рядом с ними! Поймите, как мучительно будет для меня ваше присутствие в эти последние мгновения! Дочь моя, — ибо вы все же моя дочь, хотя и помимо моей воли, — ваши сестры законным путем получили имя, которое вам дано моим преступлением; не огорчайте же свою мать, она ведь скоро угаснет. Дайте ей спокойно сойти в могилу, и тогда, готовясь предстать

перед великим судией, она сможет сказать себе, что загладила свою вину, насколько это было в ее силах, сможет надеяться, что вы не внесете раздоров в дом после ее смерти и не будете отстаивать права, которых не имеете.

— Матушка, — сказала я, — будьте спокойны на этот счет. Пригласите стряпчего. Пусть он составит акт об отказе от наследства, и я подпишу все, что вам будет угодно.

— Это невозможно: дети не могут сами лишать себя наследства. Такое наказание может исходить лишь от родителей, имеющих веское основание для своего гнева. Если бы богу угодно было призвать меня к себе завтра, мне пришлось бы завтра же пойти на эту крайнюю меру и открыться мужу, чтобы действовать сообща с ним. Не вынуждайте меня на эту откровенность: он возненавидит меня за нее, а вам она не принесет ничего, кроме позора. Если вы переживете меня, то останетесь без имени, без средств, без положения. Несчастная! Скажите мне, что с вами будет? Какие мысли должна я унести с собой в могилу? Итак, мне придется сказать мужу… сказать, что… что вы не его дитя… О дочь моя, если бы довольно было броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас… но нет, вы бесчувственны, у вас каменное

сердце — сердце вашего отца.

В эту минуту появился г-н Симонен. Он увидел волнение своей жены; он любил ее; он был вспыльчив. Он остановился на пороге и, бросив на меня грозный взгляд, сказал мне:

— Уйдите!

Будь он моим отцом, я бы не послушалась его, но он им не был.

Обращаясь к слуге, который держал свечу, г-н Симонен добавил:

— Скажите ей, чтобы она больше не появлялась здесь.

Снова я оказалась запертой в моей маленькой темнице. Я начала обдумывать то, что мне сказала мать. Упав на колени, я просила бога вразумить меня. Долго молилась я, приникнув лицом к полу. Обыкновенно мы вопрошаем небо лишь в тех случаях, когда не знаем сами, на что решиться, и редко бывает, чтобы голос свыше не посоветовал нам уступить. Именно такое решение и было принято мною. «Они хотят, чтобы я стала монахиней. Быть может, такова и божья воля. Хорошо, я стану монахиней! Если непременно нужно, чтобы я была несчастна, то не все ли равно, где это будет?..» Я попросила служанку сообщить мне, когда отца не будет дома. На сле-

дующий же день я стала просить мать дать мне возможность переговорить с нею. Она велела передать мне, что обещала г-ну Симонену не делать этого, но что я могу написать ей, и прислала мне карандаш. Итак, я написала на клочке бумаги (впоследствии этот роковой листок был найден и использован против меня как нельзя лучше): «Матушка! Я очень сожалею, что причинила вам столько огорчений. Простите меня за них, я намерена положить им конец. Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. Если ваша воля — видеть меня монахиней, то да будет это и божьей волей…»

Служанка взяла это послание и отнесла матери. Минуту спустя она вернулась и с восторгом вскричала:

— Ах, мадемуазель, зачем же вы тянули так долго, когда одного вашего слова довольно было, чтобы осчастливить ваших родителей и вас самих. У вашего батюшки, у вашей матушки такие лица, каких я ни разу не видала у них, с тех пор как живу в доме. Они постоянно ссорились из-за вас. Благодарение богу, больше мне этого не придется видеть…

Я слушала ее, а сама думала о том, что только что подписала свой смертный приговор. И это

предчувствие оправдается, если вы, сударь, не поможете мне.

Несколько дней прошло без всяких новостей. Но вот как-то утром, часов около девяти, дверь с шумом распахнулась, и вошел г-н Симонен в халате и ночном колпаке. С тех пор как я узнала, что он мне не отец, его присутствие внушало мне только страх. Я встала и присела перед ним. Мне казалось, что у меня два сердца. О матери я не могла думать без сострадания и без слез. Не то было по отношению к г-ну Симонену. Несомненно, что отец внушает нам такое чувство, какого не испытываешь ни к кому в мире. Его не сознаешь, пока не окажешься, подобно мне, лицом к лицу с человеком, который долго носил и только что утратил это священное имя. Другим никогда не понять этого чувства. Если бы в ту минуту вместо г-на Симонена передо мной была моя мать, мне кажется, я была бы совершенно иной.

— Сюзанна, — обратился он ко мне, — узнаете вы эту записку?

— Да, сударь.

— По доброй ли воле вы написали ее?

— Мне приходится ответить: да.

— И вы намерены выполнить то, что в ней написано?

— Да, намерена.

— Вы предпочитаете какой-нибудь определенный монастырь?

— Нет, все монастыри для меня одинаковы.

— Хорошо.

Вот что я ответила; но, к несчастью, мои слова не были записаны. В течение двух недель я оставалась в полном неведении относительно того, что творилось вокруг меня. Кажется, за это время родители обращались в разные монастыри, но вследствие огласки, которую получил мой поступок в первом монастыре, меня нигде не хотели принимать.



В Лоншане оказались менее требовательны: должно быть, туда дошел слух о том, что я хорошая музыкантша и что у меня есть голос. Родители сильно преувеличили передо мной затруднения, которые им пришлось преодолеть, и милость, которую оказал мне этот монастырь, принимая меня. Они даже заставили меня написать настоятельнице. Я не предвидела тогда последствий этой письменной улики. По-видимому, они потребовали ее от меня, опасаясь, как бы

в будущем я не пожелала расторгнуть мой обет, и хотели иметь документ, где бы моей собственной рукой было засвидетельствовано, что я даю его добровольно. Не будь этой причины, каким образом письмо, адресованное настоятельнице, могло впоследствии попасть в руки моих зятьев? Но лучше поскорее закрыть глаза на это, иначе г-н Симонен предстанет предо мной таким, каким я не хочу его видеть: его уже нет в живых.

Меня отвезли в Лоншан. Мать проводила меня туда. Я не стала просить позволения проститься с г-ном Симоненом; сказать правду, я вспомнила о нем только дорогой. В монастыре меня ждали. Сюда уже дошел слух и о моей истории, и о моих талантах. Никто ничего не сказал мне о первой, зато все поторопились убедиться, стоило ли приобретение тех трудов, какие были на него затрачены. После длинной беседы о безразличных вещах, — ибо, разумеется, после того, что со мной произошло, мне не стали говорить о боге, о призвании, об опасностях мирской жизни или о сладости жизни монастырской, передо мной не отважились произнести ни слова из того благочестивого вздора, каким обычно заполняются первые минуты, — итак, после длинной беседы о посторонних вещах настоятельница сказала

мне: «Мадемуазель, вы играете, поете. У нас есть клавесин. Не хотите ли перейти в приемную?» На душе у меня было тяжело, но не время было выказывать свое нежелание. Мать прошла вперед, я последовала за ней; настоятельница с несколькими монахинями, привлеченными любопытством, замыкала шествие. Это было вечером; принесли свечи, я села за клавесин. Я долго наигрывала, перебирая в памяти множество музыкальных отрывков и не находя ничего подходящего. Между тем настоятельница торопила меня, и я запела, без всякого умысла, по привычке, одну арию, которая была хорошо мне знакома: «Печальные сборы, бледные факелы, день ужаснее ночи» и т. д. Не знаю, какое это произвело впечатление, но я пела недолго: меня прервали похвалами, и я была очень удивлена, что заслужила их так быстро и так легко. Мать поручила меня заботам настоятельницы, дала мне поцеловать руку и уехала.

И вот я в другом монастыре в качестве испытуемой, и притом проходящей испытание по доброй воле. Но вы, сударь, вы ведь знаете все, что произошло вплоть до настоящей минуты, — каково же ваше мнение обо всем этом? Большая часть этих фактов совсем не была упомянута, когда я

хотела расторгнуть свой обет: одни — потому, что их нельзя было подкрепить доказательствами, другие — оттого, что они вызвали бы ко мне отвращение, не принеся при этом никакой пользы. Люди увидели бы во мне лишь жестокосердную дочь, которая, чтобы добиться свободы, бесчестит память своих родителей. Налицо были улики *против* меня, фактов же, говоривших *в мою пользу*, нельзя было ни привести, ни доказать. Я вовсе не хотела, чтобы у судей возникли подозрения относительно обстоятельств моего рождения. Некоторые лица, совершенно непричастные к закону, советовали мне привлечь к делу духовника моей матери, который был прежде и моим духовником. Этого нельзя было сделать, и даже будь это возможно, я бы этого не допустила. Кстати, чтобы не забыть сказать вам, сударь, и чтобы вы, руководясь желанием помочь мне, не упустили этого из виду: я думаю — если только вы не подадите мне лучшего совета, — что надо молчать о том, что я пою и играю на клавесине; одного этого было бы вполне достаточно, чтобы открыть мое местопребывание. Кичиться этими талантами — значит, потерять безвестность и безопасность, которых я ищу. Девушки, находящиеся в моем положении, не умеют играть и петь, — значит,

и я не должна выставлять напоказ это умение. Если мне придется покинуть родину, вот тогда я сделаю это источником своего существования. Покинуть родину? Скажите, почему эта мысль так пугает меня? Потому, что я не знаю, куда ехать. Потому, что я молода и неопытна. Потому, что я боюсь нищеты, людей и порока. Потому, что я всегда жила взаперти и вне Парижа считала бы себя затерянной в мире. Быть может, все это и не так, но это то, что я чувствую. Сударь, я не знаю, куда ехать, не знаю, кем стать; это зависит от вас.

В Лоншане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые три года. Когда меня привезли сюда, эту должность только что заняла некая г-жа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности: все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которых ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно. Я говорю беспристрастно, так как неукоснительно выполняла свои обя-

занности, и она отдала бы мне только должное, подтвердив, что я не совершила ни одного проступка, который заслуживал бы наказания или прощения. Если она оказывала кому-нибудь предпочтение, то оно было вполне заслуженным. Не знаю, удобно ли будет после этого сказать вам, что она нежно полюбила меня и что я заняла не последнее место среди ее фавориток. Я знаю, что это большая похвала мне, и похвала эта значит гораздо больше, чем вы можете себе представить, не будучи с ней знакомым. Фаворитками остальные монахини называют из зависти любимиц настоятельницы. У г-жи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек: дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру, — быстро узнавать человеческую душу. Редко случалось, чтобы монахиня, не понравившаяся ей с самого начала, понравилась бы ей когда-нибудь впоследствии. Меня она полюбила сразу, и я сейчас

же почувствовала к ней полное доверие. Горе тем монахиням, к которым она не была расположена. Они неминуемо оказывались злыми, ничтожными женщинами и сами сознавали это. Она первая заговорила о том, что произошло со мной в монастыре Св. Марии. Я откровенно рассказала ей все, как говорю вам, поделилась всем, о чем только что написала вам: ни обстоятельства моего рождения, ни мои горести — ничто не было забыто. Она сочувствовала мне, утешала, внушала надежду на лучшее будущее.

Между тем срок моего испытания истек, пришло время стать послушницей — и я надела покрывало. Свое послушничество я отбывала без особого отвращения. Эти два года я описываю бегло, потому что в них не было для меня ничего печального, если не считать тайного чувства, говорившего мне, что шаг за шагом я приближаюсь к принятию звания, для которого вовсе не создана. Время от времени это чувство вспыхивало во мне с особенной силой, но я тотчас же прибегала к моей доброй настоятельнице, и она обнимала меня, просветляла мою душу, приводила разумные доводы, а под конец всегда говорила: «А разве другие звания лишены шипов? Ведь каждый ощущает только свои. Пойдемте, дитя

мое, преклоним колена и помолимся…»

Тут она простиралась ниц и молилась вслух с таким умилением, с таким красноречием, кротостью, одушевлением и жаром, словно ее вдохновлял сам дух божий. Ее мысли, выражения, образы проникали вам в самое сердце. Сначала вы просто слушали ее, затем, постепенно увлекаясь, сливались с ней, душа замирала, и вы разделяли ее порыв. У нее вовсе не было намерения пленять вас, но, несомненно, происходило именно это; вы уходили от нее с пылающим сердцем, радостное восхищение отражалось на вашем лице, и что за сладостные слезы вы проливали! Такое же чувство испытывала и она сама; оно долго жило в ней, и вы сберегали его в своем сердце. Не я одна испытала это; это испытали все монахини. Некоторые говорили мне, что понемногу такое утешение сделалось для них величайшим наслаждением, что оно превратилось для них в потребность, и, пожалуй, мне недоставало лишь более длительной привычки, чтобы почувствовать то же, что они.

Однако с приближением дня пострига меня стала охватывать такая глубокая тоска, что моя добрая настоятельница не знала, что делать. Дар утешения покинул ее, она сама мне в этом

призналась. «Не знаю, что со мной происходит, — сказала она. — Когда вы приходите, мне кажется, что бог удаляется от меня и глас его умолкает. Тщетно я воспламеняю себя и ищу мыслей, тщетно стараюсь возбудить свою душу: я чувствую себя обыкновенной, ограниченной женщиной, я боюсь говорить…» — «Ах, матушка! — отвечала я ей. — Какое ужасное предзнаменование! Что, если это сам бог приказывает вам молчать?..»

Как-то раз, чувствуя себя более неуверенной и подавленной, чем когда бы то ни было, я вошла в ее келью. Сначала мое появление смутило ее: должно быть, в моих глазах, во всем моем существе она прочитала, что глубокое чувство, которое я носила в себе, было ей не по силам, и не хотела бороться, не будучи уверенной в победе. Тем не менее она начала убеждать меня и мало-помалу воспламенилась. По мере того как моя скорбь затихала, ее пыл возрастал; внезапно она упала на колени, я сделала то же. Мне показалось, что я готова разделить ее порыв, я этого хотела. Она произнесла несколько слов, потом вдруг умолкла. Напрасно я ждала: она ничего больше не сказала, встала и залилась слезами. Взяв меня за руку, она прижала меня к себе. «Милое дитя, — сказала она, — какое ужасное действие оказали вы на

меня! Конечно, святой дух удалился, я чувствую это. Идите, и пусть бог говорит с вами сам: ему не угодно изъявить свою волю моими устами…»

И в самом деле, с ней произошло что-то непонятное. Внушила ли я ей неверие в ее силы, которое так и не рассеялось больше, вселила ли в ее душу робость или действительно прервала ее общение с небом, — но дар утешения так к ней и не вернулся. Накануне дня пострига я пошла повидаться с нею; она была так же печальна, как я. Я заплакала, она тоже. Я упала к ее ногам, она благословила меня, подняла, поцеловала и отослала со словами: «Я устала жить, мне хочется умереть. Я просила бога, чтобы он не дал мне увидеть этот день, но на то нет его воли. Идите, я поговорю с вашей матерью, я проведу ночь в молитве; помолитесь и вы, но потом ложитесь в постель, приказываю вам это».

— Позвольте мне помолиться вместе с вами, — попросила я.

— Вы можете пробыть со мной с девяти до одиннадцати часов, не дольше. Я стану на молитву в половине десятого, вы сделаете то же, но в одиннадцать часов вы оставите меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать. Идите, милое дитя, я буду бодрствовать перед господом остаток ночи.

Она хотела молиться, но не могла. В то время как я спала, эта святая женщина прошла по коридорам и, стучась в каждую дверь, стала будить монахинь, предлагая им бесшумно спуститься в церковь. Когда все монахини собрались там, она призвала их обратиться к небу с молитвой за меня. Сначала молились молча, потом настоятельница погасила свечи, и все вместе прочитали *«Miserere»* — все, кроме настоятельницы, которая распростерлась у подножия алтаря и, жестоко истязая себя, повторяла: «О господи! Если ты покинул меня за какую-нибудь совершенную мной вину, то даруй мне прощение. Я не прошу тебя вернуть отнятый у меня дар, но обратись сам к этой невинной, которая спит, в то время как я взываю здесь к тебе, моля о ней. Господи, наставь ее, наставь ее родителей и прости меня».

На следующий день рано утром она вошла в мою келью. Я не слышала ее шагов, я еще не проснулась. Сев на край моей постели, она осторожно положила руку мне на лоб и посмотрела на меня: беспокойство, смятение и скорбь сменялись на ее лице, и такою я увидела ее, открыв глаза. Она ничего не сказала мне о том, что произошло ночью, только спросила, рано ли я легла. Я ответила:

— Когда вы мне приказали.

— Спали ли вы?

— Крепко спала.

— Так я и думала… Как вы чувствуете себя?

— Прекрасно. А вы, матушка?

— Увы! Я никогда не была спокойна перед постригом любой из послушниц, но ни за одну из них я не тревожилась так, как за вас. Как бы мне хотелось, чтобы вы были счастливы!

— Если вы всегда будете любить меня, то я буду счастлива.

— Ах, если бы все дело было только в этом! Вы ни о чем не думали ночью?

— Нет.

— Ничего не видели во сне?

— Нет.

— Что происходит сейчас в вашей душе?

— Я отупела. Я повинуюсь своей участи без отвращения и без охоты. Я чувствую, что необходимость увлекает меня, и отдаюсь течению. Ах, матушка, я вовсе не ощущаю той тихой радости, того трепета, той грусти, того сладостного смятения, какое иногда замечала у других в подобные минуты. Я ничего не понимаю, я не могу даже плакать. Этого хотят, так надо — вот единственная мысль, которая приходит мне в голову… Но

вы молчите?..

— Я пришла не для того, чтобы разговаривать с вами, а для того, чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу матушку. Постарайтесь не волновать меня. Пусть чувства накопятся в моей душе. Когда она будет полна, я покину вас. Мне надо помолчать: я знаю свое сердце — это вулкан, который извергается только раз, но извергается с силой, и не на вас должна обрушиться его лава. Полежите еще немного, я буду смотреть на вас. Скажите мне несколько слов и дайте получить здесь то, за чем я пришла. Я уйду, и бог довершит остальное…

Я умолкла и, откинувшись на подушку, протянула ей руку. Она сжала ее в своей. Видимо, она размышляла, и размышляла глубоко. Она силилась держать глаза закрытыми, но время от времени открывала их, возводила к небу и снова переводила взгляд на меня. Она начала волноваться. В ее смятенной душе то бурлили, то утихали страсти. Поистине, эта женщина была рождена, чтобы стать прорицательницей: об этом говорили ее внешность и характер. Когда-то она была прекрасна, но годы, сделав дряблой и морщинистой ее кожу, лишь придали ее лицу еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие, но, казалось, они всегда смотрят либо

в глубь ее души, либо, проникая сквозь окружающие предметы, различают где-то там, вдали, прошлое или будущее. Время от времени она с силой сжимала мне руку. Внезапно она спросила, который час.

— Скоро шесть.

— Прощайте, я ухожу. Сейчас придут облачать вас, я не хочу быть при этом, это отвлечет меня от моих мыслей. У меня сейчас одна забота — сохранить сдержанность в первые минуты.

Не успела она выйти, как вошли наставница послушниц и мои товарки. Они сняли с меня монашескую одежду и надели мирскую: вы, наверно, знаете этот обычай. Я не слышала, о чем говорили вокруг меня, я превратилась в автомат. Я не замечала ничего окружающего и только по временам судорожно вздрагивала. Мне говорили, что́ я должна делать, и я это делала, причем нередко приходилось по нескольку раз повторять мне одно и то же, ибо с первого раза я не понимала. Нельзя сказать, что я думала о другом, — нет, просто я была слишком поглощена тем, что творилось в моей душе. В голове я ощущала сильную тяжесть, словно от избытка размышлений. Тем временем настоятельница беседовала с моей матерью. Я так никогда и не узнала впоследствии,

что произошло при этом свидании, длившемся очень долго. Мне только сказали, что, уходя, моя мать была так взволнована, что не могла найти дверь, а настоятельница вышла, сжимая голову руками.

Но вот зазвонили в колокола, и я спустилась в церковь. Собрание было малочисленно. Не знаю, хорошо или плохо было напутственное слово, с которым ко мне обратились, — я не слыхала его. Со мной делали все, что хотели, в продолжение всего этого утра, совершенно выпавшего из моей жизни. Не знаю, сколько времени оно длилось, не знаю, что я делала, что говорила. Должно быть, мне задавали вопросы, и, должно быть, я отвечала; я произнесла обет, но ничего не помню об этом и сделалась монахиней так же бессознательно, как сделалась когда-то христианкой. Во всем обряде пострига я поняла не больше, чем в обряде крещения, и, по-моему, разница между ними единственно в том, что один дарует благодать, а другой только обещает ее. Правда, я не высказала протеста в Лоншане, как сделала это в монастыре Св. Марии, но скажите мне, сударь, разве вы считаете, что теперь я более связана, нежели тогда? Отдаю себя на ваш суд. Отдаю себя на суд божий. Я была в такой глубокой

прострации, что, когда несколько дней спустя мне заявили, что я участвую в хоре, я не поняла, что это значит. Я спросила — правда ли, что я постриглась; попросила показать мне подпись, поставленную под данным мною обетом. Окружающие были вынуждены присоединить к этим доказательствам свидетельство всей общины и нескольких посторонних лиц, присутствовавших на церемонии. Я много раз обращалась к настоятельнице с вопросом: «Неужели это правда?» — и все время ждала, что она ответит мне: «Нет, дитя мое, вас обманывают…» Ее неоднократные подтверждения не убеждали меня, я не могла постичь, как это, проведя целый день, столь бурный, столь богатый необычайными и разнообразными событиями, я не помню ни одного из них, не помню лиц женщин, прислуживавших мне, лица священника, произносившего напутственное слово, лица человека, который принимал мой обет. С меня сняли монашескую одежду и надели мирскую — вот единственное, что я припоминаю. Начиная с этой минуты я была буквально невменяема. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я вышла из такого состояния, и именно длительности этого периода выздоровления, если его можно назвать так, я приписываю глу-

бокое забвение всего происшедшего: так бывает с людьми, которые перенесли долгую болезнь; они как будто бы рассуждали вполне здраво, приобщились святых тайн, а выздоровев, не сохранили ни о чем ни малейшего воспоминания. Мне пришлось видеть в монастыре подобные примеры, и я сказала самой себе: «Должно быть, именно это случилось со мной в день моего пострига». Однако остается узнать — исходят ли эти действия от человека и участвует ли он в них, хотя и кажется, что это так?

В том же году я понесла три значительные утраты: умер мой отец, или, вернее, тот, кто считался им, — он был немолод, много работал; умерла настоятельница, и затем умерла моя мать.

Достойная монахиня задолго почувствовала приближение смертного часа. Она наложила на себя обет молчания и приказала принести в свою спальню гроб; она утратила сон и проводила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли: после нее осталось пятнадцать «Размышлений», которые представляются мне образцом душевной красоты. У меня сохранился список. Если когда-нибудь вам захочется ознакомиться с мыслями, внушенными предсмертным часом, я перешлю их вам. Они озаглавлены: «Последние минуты

сестры де Мони».

Перед смертью, лежа в постели, она велела одеть себя. Ее причастили и соборовали. В руках она держала распятие. Это было ночью, свет больших восковых свечей озарял мрачное зрелище. Мы со слезами окружили ее, келья огласилась рыданиями. Вдруг глаза умирающей засветились, и, внезапно приподнявшись, она заговорила. Голос ее звучал почти так же громко, как прежде, когда она была здорова. Утраченный дар вновь вернулся к ней. Она упрекнула нас за слезы, которые мы проливали, как бы завидуя ожидавшему ее вечному блаженству. «Дети мои, — сказала она, — ваша скорбь вводит вас в заблуждение. Вот там, там, — она указала на небо, — буду я служить вам. Глаза мои будут неустанно устремлены на эту обитель, я буду молиться за вас, и мои молитвы будут услышаны. Подойдите же все, чтобы я могла обнять вас, примите мое благословение и мой прощальный привет…» Вот последние слова, которые произнесла перед кончиной эта удивительная женщина, оставившая по себе бесконечную скорбь и сожаления.

Моя мать умерла в конце осени, вскоре после поездки к одной из дочерей. У нее было много горя, здоровье ее было сильно расшатано. Я так и

не узнала от нее ни имени моего отца, ни истории моего рождения. Наш общий духовник передал мне по ее поручению небольшой сверток, зашитый в кусок полотна. В нем были пятьдесят луидоров и записка. Вот что я прочла в ней:

«Дитя мое, здесь очень немного, но совесть не позволяет мне располагать большей суммой; это остаток того, что мне удалось скопить благодаря скромным подаркам господина Симонена. Живите праведно, это вернее всего может дать вам счастье — даже и в этом мире. Молитесь за меня. Ваше рождение — это единственный большой грех, совершенный мною; помогите же мне искупить его, и пусть за те добрые дела, которые совершите вы, господь простит мне то, что я произвела вас на свет. Главное — не нарушайте покоя семьи, и хотя образ жизни, который вы ведете, принят вами не столь добровольно, как я этого желала, бойтесь изменить его. Зачем я сама не была заперта в монастыре всю мою жизнь! Мысль о том, что через минуту я должна буду предстать пред грозным судией, не так пугала бы меня. Дитя мое, помните, что участь вашей матери в мире ином во многом зависит от вашего поведения в этом мире: всевидящий бог в своем правосудии зачтет мне все добро и все

зло, которые вы совершите. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от ваших сестер: они не в состоянии помочь вам. Ни на что не надейтесь со стороны отца; он опередил меня, его уже озарил великий свет, он меня ждет, и мое присутствие будет для него менее страшно, нежели встреча с ним — для меня. Еще раз прощайте. О несчастная мать! О несчастная дочь! Приехали ваши сестры, и я недовольна ими: они всё хватают, всё тащат; на глазах у умирающей матери они заводят ссоры из-за денег — это меня удручает. Когда они подходят к моей постели, я отворачиваюсь: я не хочу видеть эти два создания, в которых бедность вытравила все естественные чувства. Они жаждут завладеть тем немногим, что я оставляю; они задают врачу и сиделке неприличные вопросы, показывающие, с каким нетерпением они ждут минуты, когда меня не будет и они станут хозяевами всего, что меня окружает. Не знаю, каким образом, но у них возникло подозрение, что у меня под матрацем спрятаны какие-то деньги. Они делали все возможное, чтобы заставить меня подняться, но, к счастью, сегодня пришел мой доверенный, и вот я вручаю ему этот сверток вместе с письмом, которое он пишет сейчас под мою диктовку. Сожгите письмо, и когда узнаете,

что меня уже нет в живых — а это будет скоро, — отслужите обедню за упокой моей души и повторите ваш обет: ибо я по-прежнему желаю, чтобы вы оставались монахиней. Мысль о том, что вы можете очутиться в миру, без помощи, без поддержки, такая молодая, окончательно нарушила бы покой моих последних минут».

Отец мой умер 5 января, настоятельница — в конце того же месяца, а мать — на следующее Рождество.

Место матушки де Мони заступила сестра Христина. Ах, сударь, какая разница между ними! Я уже говорила вам, что за женщина была первая. Вторая была мелочна, ограниченна, суеверна. Она увлекалась новыми религиозными течениями, совещалась с сульпицианцами[3] и иезуитами. Она возненавидела всех любимиц своей предшественницы, и монастырь сразу наполнился раздорами, враждою, злословием, доносами, клеветой и гонениями. Нас заставили заниматься вопросами богословия, в которых мы ровно ничего не смыслили, признавать религиозные формулы, участвовать в нелепых обрядах. Сестра

[3] Примечания: 3

Сульпицианцы — католический монашеский орден, учрежденный в XVII в., который основывал духовные учебные заведения и руководил ими.

де Мони никогда не одобряла способов покаяния, изнуряющих плоть. К себе она применила их лишь дважды в жизни: первый раз — накануне моего пострига и второй — при других сходных обстоятельствах. Она говорила, что эти способы покаяния не исправляют от каких-либо недостатков, а лишь порождают гордыню. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух. Вступив в должность, она прежде всего отняла у сестер все власяницы и плети, запретив и впредь держать их у себя, а также запретила примешивать к пище золу и спать на голых досках. Сестра Христина, напротив, вернула каждой монахине ее власяницу и плеть и отняла у всех Ветхий и Новый Заветы. Фаворитки прежней королевы никогда не бывают в милости у ее преемницы. Я была безразлична, если не сказать больше, новой настоятельнице по той причине, что меня нежно любила ее предшественница, и я не замедлила ухудшить свою участь поступками, которые вы припишете либо безрассудству, либо стойкости, в зависимости от точки зрения, с какой вы посмотрите на них.

Во-первых, я открыто предалась скорби, которую вызвала во мне смерть сестры де Мони,

при каждом удобном случае восхваляла ее и проводила сравнение между нею и новой настоятельницей — сравнение, которое всегда было не в пользу сестры Христины. Я рисовала картины жизни монастыря в прежние годы, напоминала о мире, каким мы тогда наслаждались, о снисходительности, какую нам выказывала сестра де Мони, о пище — как духовной, так и телесной, — которую нам предоставляли, и восторгалась добродетелью, чувствами и характером прежней настоятельницы. Во-вторых, я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, побуждая к тому же и своих товарок, причем некоторые из них последовали моему примеру. В-третьих, раздобыла себе Ветхий и Новый Заветы. В-четвертых, отвергла всякое сектантство, называя себя христианкой и отказываясь принять имя янсенистки или молинистки.[4] В-пятых, строго замкнулась в рамках монастырского устава, не отступая от него ни в ту, ни в другую сторону и, следовательно, не выполняя никаких дополнительных повинностей, ибо и обязательные казались мне чрезмерно трудными: я соглашалась сесть за

[4] Примечания: 4

…принять имя янсенистки или молинистки. — Янсенисты и молинисты — антагонистические течения во французском католицизме XVII–XVIII вв.

орган только в праздник, пела только в хоре, не разрешала злоупотреблять моей услужливостью и музыкальными талантами и выставлять меня напоказ чуть ли не ежедневно. Я прочла и перечла монастырский устав, я выучила его наизусть. Если мне приказывали сделать что-нибудь такое, что было не совсем ясно выражено в уставе, или вовсе в нем отсутствовало, или же казалось мне противоречащим ему, я решительно отказывалась выполнить приказание. Я показывала книгу и говорила: «Вот обязательства, принятые мною. Никаких других я на себя не брала».

Мои речи увлекли кое-кого из товарок. Власть старших оказалась сильно ограниченной, они не могли больше распоряжаться нами как рабынями. Не проходило почти ни одного дня без какой-нибудь бурной сцены. Во всех сомнительных случаях товарки советовались со мной, и всегда я вставала на защиту устава и против деспотизма. Вскоре я приобрела репутацию бунтовщицы, и, пожалуй, в какой-то степени я действительно играла эту роль. То и дело в монастырь приглашались старшие викарии архиепископа, и меня вызывали на суд, где я защищала себя и своих товарок, причем ни разу не случилось, чтобы меня признали виновной, ибо доводы разума всегда

оказывались на моей стороне. Невозможно было обвинить меня и в нарушении моих обязанностей, так как я выполняла их самым тщательным образом. Что до небольших поблажек, которые всецело зависят от настоятельницы, то я никогда и не просила о них. Я никогда не появлялась в приемной; не имея никаких знакомств, я никогда не принимала гостей. Но я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, я посоветовала и другим сделать то же, я не хотела слушать разговоров ни об янсенизме, ни о молинизме, независимо от того, хвалили эти теории или осуждали. Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я говорила, что подчиняюсь церкви; на вопрос, признаю ли я папскую буллу,[5] я отвечала, что признаю Евангелие. Как-то раз обыскали мою келью и нашли там Ветхий и Новый Заветы. Мне случалось вести неосторожные беседы по поводу подозрительной близости нескольких фавориток между собой. Настоятельница имела долгие и частые свидания с глазу на глаз с одним молодым священником, и я раскрыла и причину

[5] Примечания: 5

…признаю ли я папскую буллу… — Имеется в виду пресловутая булла папы Климента XI «Unigenitus» (1713), изданная по требованию ордена иезуитов. Булла, поддержанная Людовиком XIV, который считал янсенистов своими личными врагами, осуждала янсенистов как еретиков и прокламировала верховенство церкви над государством.

их, и предлог. Словом, я делала все, чтобы вызвать к себе страх и ненависть, чтобы погубить себя, и в конце концов добилась своего. На меня больше не жаловались церковным властям, а просто решили сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням запретили общаться со мной, и вскоре я осталась одна. У меня было несколько подруг — очень немного. Настоятельница догадалась, что они постараются найти способ потихоньку нарушить запрет и, не имея возможности беседовать со мной днем, будут приходить ко мне ночью или в неурочное время. Нас выследили. Застали меня сначала с одной, потом с другой. Этот неосторожный поступок превратили бог знает во что, и я была наказана самым бесчеловечным образом: меня заставили в течение нескольких недель простаивать церковную службу на коленях, отдельно от всех, на клиросе; питаться хлебом и водой; сидеть взаперти в келье; выполнять самую грязную работу. С теми, кого сочли моими сообщницами, обошлись не лучше. Когда нельзя было найти за мной вину, ее выдумывали. Мне давали одновременно несколько несовместимых приказаний и наказывали за то, что я не выполнила их. Передвигали часы церковной службы, часы трапез, нарушали

без моего ведома весь монастырский распорядок, в результате чего, несмотря на все мои старания, я каждый день оказывалась виноватой, и каждый день меня наказывали. У меня есть мужество, но какое мужество может устоять против немилости, одиночества, преследований? Дошло до того, что мои мучения превратились в игру, в забаву для пятидесяти объединившихся между собой женщин. Я не в состоянии передать во всех подробностях их злобные выходки. Мне мешали спать, бодрствовать, молиться. То у меня крали что-нибудь из моего платья, то у меня пропадал ключ или молитвенник, то не запиралась вдруг дверь. Мне мешали хорошо выполнить заданную работу, портили то, что уже было хорошо сделано мною. Мне приписывали слова, которых я не говорила, и поступки, которых я не совершала. На меня взваливали ответственность за все на свете, и моя жизнь превратилась в цепь истинных или вымышленных проступков и в цепь наказаний.

Мое здоровье не вынесло столь длительных и столь жестоких испытаний. Я впала в уныние, грусть и тоску. Вначале я еще пыталась порой искать душевную силу и покорность судьбе у подножия алтаря и, случалось, находила там и то и другое. Я металась между смирением и

отчаянием, то подчиняясь всей суровости моей доли, то стремясь освободиться от нее с помощью какого-нибудь решительного средства. В монастырском саду был глубокий колодец. Сколько раз подходила я к нему! Сколько раз заглядывала в него! Рядом стояла каменная скамья. Сколько раз сидела я на ней, опустив голову на край колодца! Сколько раз, охваченная смятением, я вскакивала, внезапно решив положить предел моим мукам! Что удерживало меня в то время? Почему я предпочитала тогда плакать, кричать, топтать ногами свое покрывало, рвать на себе волосы, царапать лицо ногтями? Если бог не дал мне погубить себя, то почему же он допустил все остальное?



То, что я скажу сейчас, может показаться вам очень странным, и все же это чистая правда: так вот, я нисколько не сомневалась, что мои частые

прогулки к колодцу были замечены моими жестокими врагами, и они льстили себя надеждой, что когда-нибудь я выполню намерение, жившее в глубине моего наболевшего сердца. Когда я направлялась в сторону колодца, они намеренно отходили от него и смотрели в другую сторону. Много раз я находила садовую калитку открытой в часы, когда ей полагалось быть на запоре, и, как ни странно, это случалось именно в те дни, когда меня наказывали особенно тяжко. Свойственную моему характеру горячность они довели до предела и теперь считали, что я повредилась в уме. Однако как только я догадалась, что этот способ уйти из жизни был, если можно так выразиться, услужливо подсказан моему отчаянию, что меня словно за руку ведут к этому колодцу, всегда готовому меня поглотить, я перестала о нем думать и начала искать другие пути. Стоя в коридоре, я измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, я бессознательно испытывала прочность моих подвязок; бывали дни, когда я отказывалась от пищи. Я спускалась в трапезную и сидела там, прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза и не притрагиваясь к подававшимся мне блюдам. Меня охватывало полное забытье, и я даже не замечала, как все монахини уходили и я

оставалась одна.

Они нарочно удалялись совершенно бесшумно и оставляли меня там, а потом я бывала наказана за то, что пропустила молитву. Таким образом мне внушили отвращение ко всем почти способам самоубийства, так как мне казалось, что окружающие не только не противодействуют этому, но, напротив, всячески идут мне навстречу. Видимо, нам не хочется, чтобы нас выталкивали из этого мира, и, быть может, меня уже не было бы в нем, если б кто-нибудь делал вид, что хочет меня удержать. Возможно, что человек лишает себя жизни, желая привести в отчаяние своих близких, и что он сохраняет эту жизнь, когда видит, что смерть только обрадует их. Чувства, которые волнуют при этом нашу душу, неуловимы. В самом деле, насколько я могу припомнить свое состояние там, у колодца, мне кажется, что мысленно я кричала презренным женщинам, которые уходили, чтобы помочь преступлению: «Сделайте один шаг в мою сторону, выкажите малейшее желание меня спасти, подбегите, чтобы меня удержать, и вы можете быть уверены, что явитесь слишком поздно!» Право, я жила только потому, что они хотели моей смерти. Яростное желание вредить, мучить может быть утолено в

миру. В монастырях оно ненасытно.

Такова была моя жизнь, когда, перебирая в памяти прошлое, я пришла к мысли о том, чтобы расторгнуть обет. Сначала я думала об этом только вскользь. Одинокая, всеми покинутая, без поддержки, как могла я осуществить этот замысел, столь трудно исполнимый даже и с посторонней помощью? Тем не менее эта мысль несколько утешила меня. Я успокоилась и немного пришла в себя. Я избегала теперь лишних мучений и более терпеливо переносила те, которым подвергалась. Перемена эта была замечена и вызвала удивление. Злобные выходки немедленно прекратились: так останавливается преследующий вас трусливый враг, неожиданно оказавшись лицом к лицу с вами. Скажите, сударь, почему среди прочих пагубных мыслей, возникающих в уме доведенной до отчаяния монахини, ей никогда не придет в голову поджечь монастырь? Я ни разу не подумала об этом, и другие тоже, а ведь нет ничего легче: нужно только в ветреный день оставить зажженную свечу на чердаке, в дровяном сарае, в коридоре. В монастырях никогда не бывает пожаров, а ведь в этих случаях двери отворяют настежь, и — спасайся кто может!.. Не потому ли это, что мы боимся подвергнуть

опасности себя и тех, кого любим, и не желаем прибегать к помощи, которая будет оказана нам наравне с теми, кого мы ненавидим? Впрочем, эта последняя мысль слишком утонченна, чтобы быть верной.

Когда мы находимся во власти какого-нибудь стремления, оно начинает казаться нам вполне разумным и даже осуществимым, а это придает необычайную силу. Я все обдумала в две недели — мой ум работает быстро. С чего начать? Надо написать обстоятельную записку и отдать ее кому-нибудь на прочтение. И то и другое было небезопасно. С тех пор как во мне совершился переворот, за мной стали наблюдать еще внимательнее, чем прежде. С меня просто не спускали глаз; каждый мой шаг сейчас же становился известен, каждое слово взвешивалось. Со мной снова стали искать сближения, стараясь выпытать что-либо: меня расспрашивали, проявляли напускное сострадание и дружеские чувства; заговаривали о моей прежней жизни, слегка журили и охотно извиняли; выражали надежду на лучшее поведение и сулили более приятное будущее, а между тем под разными предлогами входили днем и ночью в мою келью, внезапно и бесшумно приоткрывали полог кровати, а затем

уходили. У меня появилась привычка спать одетой. У меня появилась и другая — писать свою исповедь. В один из установленных дней я пошла к настоятельнице и попросила у нее чернил и бумаги. Она не отказала мне в этом. Итак, я стала ждать дня исповеди, а пока что составляла то, что задумала. Это было краткое изложение тех самых событий, о которых я написала и вам, только с вымышленными именами. Но я совершила три оплошности: во-первых, сказала настоятельнице, что мне надо о многом написать, и под этим предлогом попросила у нее больше бумаги, чем полагалось обычно; во-вторых, занялась моей запиской и забросила исповедь и, в-третьих, не написав исповеди и не подготовившись к этому религиозному обряду, пробыла в исповедальне очень недолго. Все это было замечено и навело на мысль, что полученная мною бумага была использована не на то, на что я просила. Однако если она ушла не на исповедь — а это было очевидно, — то какое же употребление сделала я из нее?

Не зная, что вызвала такую тревогу, я все же почувствовала, что не следует оставлять при себе столь важный документ. Сначала я хотела зашить его в подушку или в матрац, спрятать в своем пла-

тье, зарыть в саду, бросить в огонь. Вы не можете себе представить, как я спешила его написать и в каком оказалась затруднении, когда он был готов. Я запечатала его, спрятала на груди и пошла в церковь, когда уже раздавался колокольный звон. Охватившее меня беспокойство сквозило в каждом моем движении. Мое место было рядом с одной монахиней, которая относилась ко мне подружески. Мне не раз случалось ловить на себе ее взгляды, полные сострадания; она не говорила со мной, но было видно, что ей жаль меня. Несмотря на огромный риск, я решила доверить ей мои записки. Улучив момент, когда во время молитвы все монахини опускаются на колени и кладут земные поклоны, так что их совсем не видно за спинками скамеек, я незаметно вынула из-за лифа платья свою бумагу и протянула ей позади себя. Она взяла ее и спрятала на груди. Эта услуга была значительнее всех тех, какие она оказывала мне прежде, а их было немало: в течение многих месяцев она, стараясь не выдавать себя, устраняла все мелкие препятствия, которые монахини ставили на моем пути, чтобы помешать мне выполнять мои обязанности и получить право наказать меня за это. Она стучала в дверь моей кельи, когда пора было выходить, исправляла

то, что портили, шла вместо меня звонить или петь в хоре, когда это было нужно, оказывалась повсюду, где должна была находиться я. Все это делалось без моего ведома.

Хорошо, что я отдала свои записки. Когда мы сошли с клироса, настоятельница сказала: «Сестра Сюзанна, идите за мной...» Я пошла за ней. Остановившись в коридоре у одной из дверей, она сказала: «Вот ваша келья. Вашу прежнюю займет сестра Иеронима...» Я вошла, и она вместе со мной. Мы обе сидели молча, как вдруг появилась монахиня: она принесла одежду и положила ее на стул. «Сестра Сюзанна, — сказала мне настоятельница, — снимите ваше платье и наденьте это...» Я сделала это в ее присутствии, причем она следила за каждым моим движением. Сестра, принесшая мне платье, стояла за дверью. Она снова вошла, собрала ту одежду, которую я сняла, и вышла. Настоятельница последовала за ней. Мне не сказали, зачем все это было нужно, и я ни о чем не спрашивала. Между тем они обыскали каждый уголок моей кельи, распороли подушку и матрац, перетрогали все, что только можно было потрогать, побывали везде, где ступала моя нога: в исповедальне, в церкви, в саду, у колодца, у каменной скамьи. Я

видела только часть этих поисков, об остальном я могла лишь догадаться. Они ничего не нашли, но это не ослабило их уверенности в том, что я что-то прячу. В течение нескольких дней они продолжали выслеживать меня — ходили за мной по пятам, подсматривали, — но безрезультатно. Наконец настоятельница решила, что истину можно узнать только от меня самой. Однажды она вошла ко мне в келью и сказала:

— Сестра Сюзанна, у вас есть недостатки, но вы никогда не лжете. Скажите мне правду: на что вы употребили всю ту бумагу, которую я вам дала?

— Сударыня, я уже сказала вам.

— Этого не может быть, потому что вы попросили у меня много бумаги, а в исповедальне пробыли одну минуту.

— Это правда.

— Так на что же вы употребили ее?

— Я уже сказала вам это.

— Хорошо! Поклянитесь мне святым обетом послушания, который вы принесли богу, что это так, и я поверю вам, несмотря ни на что.

— Сударыня, вам не дозволено требовать клятву по такому маловажному поводу, а мне не дозволено давать ее. Я не стану клясться.

— Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и

сами не знаете, к чему это может привести вас. На что вы употребили полученную от меня бумагу?

— Я уже сказала вам.

— Где она?

— У меня ее нет.

— Что вы с ней сделали?

— То, что обычно делают с такими записями, когда они больше не нужны, — выбросила их.

— Поклянитесь мне святым обетом послушания, что вы употребили всю бумагу на запись вашей исповеди и что у вас ее больше нет.

— Сударыня, повторяю вам: этот второй вопрос столь же маловажен, как первый, и я не стану клясться.

— Поклянитесь, — сказала она, — или…

— Я не стану клясться.

— Не станете?

— Нет, сударыня.

— Значит, вы виновны!

— В чем я могу быть виновной?

— Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно восхваляли мою предшественницу, чтобы унизить меня. Вы не признавали обычаев, которые она упразднила, правил, которые она отменила, несмотря на то что я сочла нужным восстановить их. Вы взбунтовали всю общину, вы нарушали

устав, сеяли раздор в умах, не выполняли ни одной из своих обязанностей, вынуждали меня наказывать вас и наказывать тех, кого вы совратили, — а это для меня тяжелее всего. Я могла принять против вас самые суровые меры, но я щадила вас, думая, что вы призна́ете свою вину, поймете, чего от вас требует ваше положение, и покоритесь мне. Вы не сделали этого. В вашей душе происходит что-то недоброе. Вы что-то замышляете. В интересах монастыря я должна знать, что именно, и, ручаюсь вам, я узнаю это. Сестра Сюзанна, скажите мне правду.

— Я уже сказала вам.

— Сейчас я уйду, но бойтесь моего возвращения… Вот я сажусь… даю вам еще одну минуту, решайтесь… Или ваши записки, если они еще существуют…

— У меня их больше нет.

— …или клятву, что в них не было ничего, кроме вашей исповеди.

— Я не могу дать вам ее.

Мгновение она молчала, потом вышла и вернулась с четырьмя монахинями из числа своих фавориток. У них был дикий и свирепый вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосердии, но они кричали все разом:

— Никакого милосердия! Только не допускайте, сударыня, чтобы она разжалобила вас! Пусть отдаст записки или пусть отправляется в карцер…

Я обнимала колени то у одной из них, то у другой; я говорила, называя их по именам:

— Сестра Агнеса, сестра Юлия! Что я вам сделала? Зачем вы восстанавливаете против меня нашу настоятельницу? Разве я так поступала с вами? Сколько раз я заступалась за вас! Вы уже забыли об этом. И ведь вы были виновны тогда, а я сейчас ни в чем не виновна.

Настоятельница смотрела на меня не шевелясь и повторяла:

— Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что в них было.

— Сударыня, — говорили монахини, — перестаньте упрашивать ее, вы слишком добры, вы ее не знаете. Это непокорная душа, которую можно обуздать только с помощью крайних мер. Она сама вынуждает вас к ним — тем хуже для нее.

— Матушка, — говорила я, — я не сделала ничего такого, что могло бы прогневать бога или людей, клянусь вам.

— Это не та клятва, какой я требую от вас.

— Она, наверное, послала старшему викарию или архиепископу жалобу на вас, матушка, на

всех нас. Одному богу известно, как она расписала монастырские порядки. Дурному легко верят. Сударыня, надо обезвредить эту тварь, если вы не хотите, чтобы она навредила всем нам.

— Вот видите, сестра Сюзанна! — добавила настоятельница.

Я резко поднялась с места и сказала ей:

— Я все вижу, матушка. Я чувствую, что погибаю; но не все ли равно, когда это будет — минутой раньше или минутой позже? Делайте со мной что хотите, дайте волю их ярости, дайте пищу своей несправедливости…

И я протянула им руки. Монахини тут же схватили их. Они сорвали с меня покрывало, бесстыдно содрали одежду. На груди у меня нашли миниатюрный портрет прежней настоятельницы. Его сорвали с меня, и сколько я ни молила позволить мне поцеловать его в последний раз, мне отказали в этом. Мне швырнули какую-то рубаху, сняли чулки, накинули на меня мешок и так, с обнаженными ногами и головой, повели по коридорам. Я кричала, звала на помощь, но колокол громко звонил, предупреждая, чтобы никто не смел появляться. Я взывала к небу, я упала на пол, и меня волокли насильно. Когда я очутилась у подножия лестницы, ноги и руки

у меня были окровавлены, а все тело в ушибах. Я была в таком состоянии, что могла бы тронуть каменное сердце. Тем не менее громадным ключом была отперта дверь тесного и темного подземелья, и меня бросили на полусгнившую от сырости циновку. Я нашла там кусок черного хлеба, кружку с водой и еще грубую лохань для определенных целей. Край циновки, свернутый валиком, заменял подушку. На плоском камне стояли череп и деревянное распятие. Первым моим побуждением было лишить себя жизни. Я стискивала руками горло, раздирала зубами платье, испускала ужасные крики. Я выла, как дикий зверь, билась головой об стену, я была вся в крови. Я старалась довести себя до такого состояния, чтобы силы оставили меня, и это не замедлило случиться. Так я провела три дня и думала, что мне уже никогда не выйти на свободу. Каждое утро являлась одна из моих мучительниц и говорила:

— Покоритесь настоятельнице — и вы выйдете отсюда.

— Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня хотят. О сестра Сен-Клеман, ведь есть же бог…



На третьи сутки, около девяти часов вечера, дверь отворилась и вошли те же самые монахини, которые привели меня сюда. Расхвалив доброту

настоятельницы, они сообщили, что она прощает меня и сейчас меня выпустят на свободу.

— Поздно, — ответила я им, — оставьте меня здесь, я хочу умереть в этих стенах.

Они все же подняли меня и потащили. В моей келье я увидела настоятельницу.

— Я спросила у бога, как мне поступить с вами, и он тронул мое сердце: ему угодно, чтобы я сжалилась над вами, и я повинуюсь. Станьте на колени и попросите его простить вас.

Я встала на колени и сказала:

— Господи, я прошу тебя простить мне мои грехи, как ты просил за меня, когда был на кресте.

— Какая гордыня! — вскричали они. — Она сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас — с иудеями, распявшими его.

— Посмотрите не на меня, а на себя, — сказала я, — и судите сами.

— Это еще не все, — продолжала настоятельница. — Поклянитесь святым обетом послушания, что никогда никому не расскажете о том, что произошло.

— Как видно, то, что вы сделали, очень дурно, если вы требуете от меня клятвы хранить молчание. Никто не будет знать о происшедшем, кроме вашей совести, клянусь вам в этом.

— Клянетесь?

— Клянусь.

После этого они сняли с меня ту одежду, которую дали мне несколько дней назад, и позволили надеть прежнее платье.

Я простудилась в сыром подземелье. Вся моя пища за последние дни состояла из нескольких капель воды и кусочка хлеба. Жизнь моя была в опасности, все тело болело, я думала, что мучения, которые я перенесла, окажутся для меня последними. Однако именно кратковременность действия этих бурных потрясений и показывает, сколько сил заложено природой в молодом организме: я пришла в себя очень быстро, и когда снова начала выходить, оказалось, что наша община была уверена в том, что все это время я проболела. Я снова стала присутствовать на богослужениях и заняла свое место в церкви. Я не забыла о своих записках, не забыла и о молоденькой сестре, которой отдала их. Я была убеждена в том, что она не злоупотребила моим доверием, но понимала, что она не может спокойно хранить у себя такой документ. Через несколько дней после моего выхода из карцера, когда я стояла на клиросе — это было в такой же самый момент, как тогда, когда я отдала ей бумагу, то есть когда мы

опустились на колени и, наклоняясь друг к другу, сделались невидимыми со стороны за спинками скамеек, — я почувствовала, что меня осторожно дергают за платье. Я протянула руку, и мне сунули записку, в которой было всего несколько слов: «Как я беспокоилась за вас! Что же я должна делать с этой ужасной бумагой?..» Прочитав записку, я скатала ее в комок и проглотила. Все это происходило в начале Великого поста. Приближалось время, когда желание послушать церковное пение привлекает в Лоншан как хорошее, так и дурное общество Парижа. У меня был прекрасный голос: он почти не пострадал. Нигде так не пекутся о своей выгоде, как в монастырях: со мной стали обходиться немного лучше, я начала пользоваться несколько большей свободой. Сестры, которых я учила петь, могли теперь беспрепятственно общаться со мной. Та, которой я доверила свои записки, также принадлежала к их числу. Свободные часы мы проводили в саду; как-то раз, отведя ее в сторону, я заставила ее петь и, пока она пела, сказала ей:

— У вас много знакомых среди мирян, у меня же никого нет. Друг мой, я не хочу подводить вас и готова скорей умереть, чем навлечь на вас подозрение в том, что вы оказали мне эту услугу.

Вас это может погубить, а меня все равно не спасет. Впрочем, если бы даже ваша гибель и могла спасти меня, я ни за что не согласилась бы на спасение, купленное такой ценой,

— Не будем говорить об этом, — ответила она. — Что надо сделать?

— Надо переправить эту бумагу в надежные руки, какому-нибудь искусному адвокату, но так, чтобы он не знал, из какого монастыря она исходит, а потом получить ответ. Вы передадите мне его в церкви или где-нибудь в другом месте.

— Кстати, — сказала она, — что вы сделали с моей запиской?

— Будьте покойны, я проглотила ее.

— Будьте покойны и вы: я позабочусь о вашем деле.

Надо заметить, сударь, что, пока она говорила, я пела, а пока отвечала я, пела она, так что наш разговор все время перемежался пением. Эта молодая особа все еще находится в монастыре, и ее судьба, сударь, в ваших руках. В случае, если бы обнаружилось все, что она сделала для меня, нет таких мучений, каким бы ее не подвергли. Я не хочу, чтобы она попала из-за меня в карцер; уж лучше мне самой снова очутиться там. Сожгите эти письма, сударь. Если вы прочтете их с

таким же интересом, какой вам угодно было проявить к моей судьбе, то, право, нет надобности хранить их.

(Вот что я писала вам в то время. Но, увы, ее нет более, я осталась одна…)

Она не замедлила исполнить свое обещание и сообщить мне об этом нашим обычным способом. Наступила Страстная неделя.

Послушать нашу вечернюю службу приехало множество народу. Я пела настолько хорошо, что вызвала бурные аплодисменты, те неприличные аплодисменты, какими публика награждает комедиантов в ваших театральных залах и какие никогда не должны были бы раздаваться в храмах господа бога, особенно в торжественные и мрачные дни, посвященные памяти его сына, распятого на кресте ради искупления грехов рода человеческого. Мои юные ученицы были хорошо подготовлены, некоторые из них обладали недурным голосом, почти все — выразительностью и изяществом исполнения, и мне показалось, что публика слушала их с удовольствием, а община была удовлетворена успехом моих стараний.

Как вам известно, сударь, в Чистый четверг святые дары переносятся из дарохранилища на особый престол, где они остаются до утра пят-

ницы. В этот промежуток времени монахини, поодиночке или парами, подходят к этому престолу поклониться святым дарам. Вывешивается табличка, где каждой монахине указан ее час. Как я обрадовалась, прочитав на ней, что сестре Сюзанне и сестре Урсуле назначено время от двух до трех часов ночи! Я пришла к алтарю в указанный час; моя подруга была уже там. Мы стали рядом на ступени алтаря, затем вместе простерлись ниц и в течение получаса предавались молитве. После этого моя юная подруга сжала мне руку и сказала:

— Может быть, нам никогда больше не представится случай говорить друг с другом так долго и так свободно. Богу известно, в какой тюрьме мы живем, и он простит, если мы отнимем у него часть времени, которое принадлежит ему целиком. Я не читала ваших записок, но нетрудно догадаться об их содержании. Скоро я получу ответ на них. Однако не думаете ли вы, что в случае, если этот ответ разрешит вам добиваться расторжения обета, вам нужно будет посоветоваться с людьми, знающими законы?

— Вы правы.

— Не кажется ли вам, что вам понадобится свобода?

— Вы правы.

— И что вам следует воспользоваться настоящим положением вещей, чтобы ее добиться?

— Я думала об этом.

— Так вы это сделаете?

— Возможно.

— Еще одно: ведь если начнется ваше дело, ярость всей общины обрушится на вас. Подумали ли вы о преследованиях, которые вас ожидают?

— Они будут не страшнее тех, какие я уже перенесла.

— Я ничего об этом не знаю.

— Простите меня. Но теперь никто не посмеет посягнуть на мою свободу.

— Почему же?

— Потому что я буду находиться под покровительством закона: меня нельзя будет прятать, я окажусь, так сказать, между миром и монастырем. Я смогу свободно говорить, свободно жаловаться. Я призову в свидетели всех вас. Никто не посмеет обидеть меня, если я смогу рассказать об этих обидах. Мои враги будут бояться, как бы дело не приняло дурной оборот. Я была бы даже рада, если бы они стали теперь плохо обращаться со мной; но этого не будет. Уверяю вас, они поведут себя совершенно иначе. Меня

начнут уговаривать, доказывать, что я причиняю вред и себе самой, и монастырю. Убедившись, что кротостью и обещаниями им не удастся достигнуть цели, они перейдут к угрозам, но прибегнуть к насилию не решатся.

— Когда видишь, как легко и как старательно вы исполняете свои обязанности, просто не верится, что вы питаете к монашеству такое отвращение.

— И все же я испытываю это чувство. Оно родилось вместе со мной и никогда меня не покинет. Все равно рано или поздно я оказалась бы дурной монахиней. Надо предотвратить эту минуту.

— Но если, на ваше несчастье, вы потерпите неудачу?

— Если я потерплю неудачу, то попрошу перевести меня в другой монастырь или же умру в этом.

— Прежде чем умереть, придется много выстрадать. Ах, друг мой, ваша затея пугает меня. Я боюсь и того, что ваш обет будет расторгнут, и того, что это вам не удастся. Если вы добьетесь своего, что станется с вами? Что будете вы делать в миру? Вы обладаете приятной внешностью, умом, талантами, но говорят, что все эти качества ничего не дают в соединении с добродетелью, а

я твердо знаю, что вы никогда не расстанетесь с нею.

— Вы справедливы ко мне, но несправедливы к добродетели, а в ней — единственная моя надежда. Чем реже она встречается у людей, тем большее почтение она внушает.

— Все ее восхваляют, но никто и ничем не жертвует ради нее.

— Она одна ободряет и поддерживает меня в моем намерении. В чем бы меня ни упрекали, моя нравственность остается безупречной. Про меня, по крайней мере, не скажут, как говорят о большинстве других, что я порываюсь сбросить монашеское покрывало ради какой-нибудь необузданной страсти: я ни с кем не вижусь, никого не знаю; я прошу освободить меня потому, что пожертвовала своей свободой против воли. Читали вы мои записки?

— Нет. Я вскрыла пакет, который вы мне дали, так как на нем не было адреса и я имела все основания думать, что он предназначался мне, но первые же строчки вывели меня из заблуждения, и я не стала читать дальше. Какое счастье, что вы догадались отдать его мне! Минутой позже его нашли бы у вас… Однако срок нашего моления кончается; повергнемся ниц; пусть те, которые

придут нам на смену, застанут нас в подобающей позе. Попросите бога, чтобы он простил вас и указал вам путь. Я присоединю свои мольбы и воздыхания к вашим.

На душе у меня стало немного легче. Моя подруга молилась стоя, а я простерлась ниц и лежала, прижавшись лбом к нижней ступеньке алтаря и касаясь руками верхних. Кажется, никогда еще я не обращалась к богу с бóльшим жаром, никогда не находила в молитве такой отрады. Сердце мое сильно билось, я мгновенно забыла обо всем, что меня окружало. Не знаю, сколько времени я пробыла в таком положении, сколько еще могла бы пробыть здесь, но, должно быть, я представляла трогательное зрелище для моей подруги и двух монахинь, пришедших нам на смену. Когда я поднялась, думая, что, кроме меня, здесь никого нет, оказалось, что это не так — все три стояли сзади, проливая слезы. Не решаясь прервать меня, они ждали, когда я сама выйду из состояния восторженного исступления, в котором они меня застали. Я обернулась к ним. Если судить по тому впечатлению, которое я на них произвела, у меня, как видно, было в эту минуту какое-то особенное выражение лица. Они сказали, что я напомнила им нашу бывшую настоятельницу и

что мой вид привел их в такой же трепет, в какой приводила она, утешая нас. Будь у меня хоть малейшая склонность к лицемерию или фанатизму и желание играть в монастыре какую-то роль, я не сомневаюсь, что роль эта вполне удалась бы мне. Мою душу легко возбудить, воспламенить, растрогать, и моя добрая настоятельница сотни раз говорила, обнимая меня, что никто не любит бога так сильно, как я, что у меня сердце живое, а у других оно из камня. И действительно, я с необычайной легкостью разделяла ее экстаз, и, когда она молилась вслух, мне случалось заговорить, продолжить нить ее размышлений и, как бы по вдохновению, высказать то, что она собиралась сказать сама. Остальные слушали ее молча или повторяли ее слова, я же прерывала ее, подсказывала или говорила вместе с нею. Во мне надолго сохранялось полученное впечатление, и возможно, что какая-то частица его снова возвращалась от меня к ней, ибо если по лицу других монахинь можно было угадать, что они беседовали с нею, то по ее лицу можно было понять, что она беседовала со мной. Впрочем, какое значение имеет все это, когда не чувствуешь призвания?.. Наше моление окончилось, мы уступили место пришедшим, и я нежно обняла мою юную подру-

гу, перед тем как расстаться с нею.

Сцена у алтаря наделала в монастыре много шуму. Добавьте к этому успех нашей вечерней службы в Великую пятницу: я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какие вздорные умы у монахинь! Без всяких почти усилий с моей стороны я восстановила мир со всей общиной: теперь все заискивали передо мной, и настоятельница — первая. Кое-кто из мирян пожелал познакомиться со мной. Это настолько соответствовало моим замыслам, что я не стала отказываться. У меня побывали старший председатель суда, г-жа де Субиз и множество почтенных людей — монахи, священники, военные, судейские, богомолки, светские дамы. Среди этих лиц попадались и вертопрахи, которых вы называете «красными каблуками».[6] Последних я быстро спровадила: я поддерживала лишь те знакомства, за которые никто не мог бы меня упрекнуть, остальные же уступила другим монахиням, на этот счет менее разборчивым.

Забыла вам сказать, что первым знаком благоволения ко мне было то, что меня снова поселили в моей келье. Я решилась попросить вернуть мне

---

[6] Примечания: 6

«Красные каблуки» — прозвище придворных щеголей во Франции XVII–XVIII вв.

миниатюрный портрет нашей прежней настоятельницы, и мне не посмели отказать в этой просьбе. Он снова занял место у моего сердца и останется там, пока я жива. Каждое утро я прежде всего возношусь мыслью к богу, а затем целую этот портрет. Когда мне хочется молиться, но я чувствую, что душа холодна, я снимаю его с шеи, держу перед собой, смотрю на него, и он вдохновляет меня. Как жаль, что мы не знали святых, изображения которых выставляются для поклонения! Их воздействие на нас было бы гораздо сильнее, и мы не были бы так холодны, стоя перед ними или распростершись перед ними ниц.

Я получила ответ на мою записку. Ответ этот, который мне прислал г-н Манури, нельзя было назвать ни благоприятным, ни неблагоприятным. Прежде чем высказать свое мнение по моему делу, г-н Манури желал получить множество разъяснений, которые мне трудно было дать ему заочно. Поэтому я открыла ему свое имя и пригласила его приехать в Лоншан. Эти господа тяжелы на подъем, но все же он явился. У нас была длительная беседа, и мы условились относительно переписки; он обещал найти верный способ посылать мне свои запросы и получать от меня ответы. В то время как он занимался

моим делом, я, со своей стороны, старалась расположить людей в свою пользу, заинтересовать их в своей участи и приобрести покровителей. Я открыла им свое имя и рассказала о моем поступке в монастыре Св. Марии — первой обители, где я жила, о мучениях, которые мне пришлось вынести там, о протесте, заявленном мною, о страданиях, перенесенных в родительском доме, о моем пребывании в Лоншане, о принятии послушничества, о пострижении, о жестоком обращении со мною после того, как я дала обет. Меня жалели, предлагали мне помощь. Я попросила отложить проявление этих дружеских чувств до того времени, когда они смогут мне понадобиться, но пока не высказалась более ясно. В монастыре ничего не знали. Я уже получила из Рима разрешение ходатайствовать о расторжении обета; вскоре должен был начаться процесс, а здесь все еще были в полном неведении. Можете себе представить, каково было изумление настоятельницы, когда ей предъявили от имени сестры Марии-Сюзанны Симонен заявление о расторжении обета, а также просьбу разрешить ей снять монашескую одежду и выйти из монастыря, с тем чтобы располагать собой по своему усмотрению.

Разумеется, я предполагала, что встречу немало возражений — со стороны закона, со стороны монастыря, со стороны моих встревоженных зятьев и сестер: последние владели всем имуществом семьи, и, оказавшись на свободе, я могла бы претендовать на возвращение значительной его части. Я написала сестрам, умоляя их не чинить никаких препятствий моему уходу из монастыря, я взывала к их совести, напоминая о том, что обет был дан мною почти против воли. Я обещала им формально отказаться от каких-либо претензий на наследство, оставшееся после родителей. Я всячески старалась убедить их, что мой шаг не был продиктован ни стремлением к денежной выгоде, ни любовным увлечением. Я не заблуждалась относительно их чувств. Такого рода акт, составленный до расторжения обета, мог оказаться недействительным впоследствии, и у них не было никакой уверенности в том, что я подтвержу его, получив свободу. Да и было ли им удобно принять мое предложение? Как могли они оставить сестру без пристанища и без средств? Как могли воспользоваться ее имуществом? Что сказали бы окружающие? «А что, если сестра обратится к нам с просьбой о куске хлеба, можно ли будет отказать ей? А вдруг она вздумает выйти

замуж — кто знает, что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети?.. Нет, нет, надо всеми силами воспрепятствовать этой опасной попытке...» Вот что они сказали себе и что сделали.

Как только настоятельница получила официальное извещение о возбуждении мною дела, она сейчас же прибежала ко мне в келью.

— Как, вы хотите нас покинуть, сестра Сюзанна? — вскричала она.

— Да, сударыня.

— И собираетесь отречься от обета?

— Да.

— Разве вы дали его не по доброй воле?

— Нет, сударыня.

— Кто же принудил вас к этому?

— Все.

— Ваш отец?

— Да, отец.

— Ваша мать?

— Да, и она.

— Почему же вы не заявили об этом перед алтарем?

— Я почти не сознавала, что со мной происходит: не помню даже, присутствовала ли я при этом.

— Как можно говорить такие вещи!

— Я говорю правду.

— Полноте! Вы не слышали, как священник спрашивал вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет послушания, целомудрия и бедности?»

— Я не помню этих слов.

— Однако же вы ответили ему: «Да».

— Не помню.

— И вы воображаете, что люди поверят вам?

— Поверят или нет, но правда не перестанет от этого быть правдой.

— Дорогое дитя, подумайте сами, к каким злоупотреблениям могли бы повести подобные отговорки, если бы с ними стали считаться! Вы сделали необдуманный шаг, поддавшись чувству мести. Вы затаили в душе злобу из-за наказаний, к которым вынудили меня сами, и решили, что это достаточная причина для расторжения обета. Вы ошиблись: этого не допустят ни бог, ни люди. Подумайте, ведь нарушение клятвы — это величайшее из преступлений. Вы уже совершили его в своем сердце, а теперь собираетесь довести дело до конца.

— Я не нарушу клятвы, потому что не давала ее.

— Если даже вам и были нанесены некоторые

обиды, то разве они не были потом заглажены?

— Не это заставило меня решиться.

— Что же?

— Отсутствие призвания, отсутствие свободной воли при произнесении обета.

— Но если у вас не было призвания, если вас принуждали, почему вы не сказали об этом, когда еще было время?

— Да разве это могло помочь мне?

— Почему вы не обнаружили такой же твердости, какую проявили в монастыре Святой Марии?

— Да разве эта твердость зависит от нас? В первый раз я была тверда, во второй — дух мой ослабел.

— Почему вы не обратились к человеку, знающему законы? Почему не выразили протеста? Вы имели право заявить о своем отказе в течение суток.

— Да разве я знала об этих формальностях? А если бы и знала, то разве я была в состоянии воспользоваться ими? Да и была ли у меня эта возможность? Сударыня, ведь вы сами заметили тогда мое умственное расстройство. Скажите — если я призову вас в свидетели, неужели вы поклянетесь, что я была в здравом рассудке?

— Да, я поклянусь в этом.

— Тогда, сударыня, не я, а вы будете клятвопреступницей.

— Дитя мое, вы вызовете ненужный скандал, и только. Заклинаю вас, придите в себя. Это в ваших же собственных интересах, в интересах всей обители. Такого рода дела никогда не обходятся без позорной огласки.

— Не я буду виновна в этом.

— Миряне злы. Они будут делать самые невыгодные предположения относительно вашего ума, сердца, нравственности. Могут подумать, что…

— Пусть думают что хотят.

— Будьте со мной откровенны. Если у вас есть какое-нибудь тайное недовольство, мы найдем способ устранить его причину, в чем бы она ни заключалась.

— Всю свою жизнь я была, есть и буду недовольна тем, что я монахиня.

— Быть может, дух-искуситель, который стережет нас на каждом шагу и старается погубить наши души, воспользовался чрезмерной свободой, предоставленной вам в последнее время, и внушил вам какую-нибудь пагубную склонность?

— Нет, сударыня. Вы знаете, что я нелегко даю клятвы; так вот, я призываю бога в свидетели, что сердце мое чисто и в нем никогда не было ни одного постыдного чувства.

— Это непостижимо.

— А между тем, сударыня, это так просто. Не все люди одинаковы. Вам нравится жизнь в монастыре, а я ее ненавижу. Бог даровал вам радости, связанные с монашеством, а мне он их не дал. Вы погибли бы в миру, здесь вам обеспечено спасение; а я погибла бы здесь и надеюсь спастись в миру: я дурная монахиня и останусь такою.

— Но почему же? Ведь никто не исполняет своих обязанностей лучше вас.

— Да, но я делаю это через силу и против воли.

— Тем больше ваша заслуга.

— Никто не знает лучше меня, чего я заслуживаю, и я вынуждена сознаться, что, несмотря на всю мою покорность, у меня нет никаких заслуг. Я устала от собственного лицемерия. Делая то, что другим приносит спасение, я ненавижу себя и гублю свою душу. Словом, сударыня, я считаю истинными монахинями лишь тех, кого удерживает здесь склонность к уединенной жизни и кто остался бы в монастыре даже в том случае, если б вокруг не было ни решеток, ни толстых стен. Я

далеко не такова: тело мое здесь, но сердце отсутствует, и если бы мне пришлось выбирать между смертью и вечным затворничеством, я не колеблясь выбрала бы смерть. Таковы мои чувства.

— Как! Неужели вы без угрызений совести сбросите с себя это покрывало, эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу?

— Да, сударыня, так как я надела их необдуманно и против воли.

Я отвечала очень сдержанно, хотя сердце подсказывало мне совсем иные слова; оно кричало: «О, поскорее бы дожить до минуты, когда я смогу разорвать их и отбросить далеко прочь!..»

Тем не менее ответ мой ужаснул настоятельницу. Она побледнела, хотела что-то сказать, но губы ее дрожали, и она не находила слов.

Я большими шагами ходила взад и вперед по келье, а она восклицала:

— О господи! Что скажут наши сестры? О Иисусе, смилостивься над нею!.. Сестра Сюзанна!

— Да, сударыня?

— Так это ваше окончательное решение? Вы хотите покрыть нас позором, сделать себя и нас притчей во языцех, погубить себя?

— Я хочу выйти отсюда.

— Но если дело только в том, что вам не нра-

вится этот монастырь…

— Монастырь, монашество, обеты!.. Я не хочу жить под замком ни здесь, ни где бы то ни было.

— Дитя мое, в вас вселился злой дух. Это он возмущает вас, внушает вам такие слова, приводит в исступление. Да, да, это так; посмотрите, в каком вы виде!

В самом деле — бросив на себя взгляд, я увидела, что мое платье было в беспорядке, нагрудник съехал почти на спину, покрывало сползло на плечи. Злые слова настоятельницы, произнесенные притворно-ласковым тоном, вывели меня из себя, и я сказала ей с раздражением:

— Нет, сударыня, нет, я не хочу больше носить это платье, не хочу…

Говоря это, я все же делала попытки привести в порядок свое покрывало, но руки у меня дрожали, и чем больше я старалась поправить его, тем больше оно сбивалось на сторону. Тогда, потеряв терпение, я порывисто схватила его, сорвала с себя, бросила на пол и стояла теперь перед настоятельницей с одной только повязкой на лбу и с растрепанными волосами. Не зная, что делать — остаться или уйти, — она ходила взад и вперед по келье, повторяя:

— О Иисусе, в нее вселился бес! Нет сомнения,

в нее вселился бес!..

И лицемерная женщина осеняла себя крестом своих четок.

Я быстро пришла в себя и почувствовала все неприличие своего вида и всю неосторожность своих слов. Я постаралась по возможности овладеть собой, подняла с полу покрывало и надела его, потом обернулась к настоятельнице и сказала:

— Сударыня, я не сошла с ума, и в меня не вселился бес. Я стыжусь своей выходки и прошу вас простить меня за нее; но теперь судите сами, как мало подходит мне звание монахини и как правильно я поступаю, стараясь по мере сил избавиться от него.

Не слушая меня, она повторяла: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?»

— Сударыня, — сказала я, — вы хотите избежать огласки? Для этого есть средство. Я не забочусь о своем вкладе, я хочу только свободы. Я не прошу вас раскрыть передо мной двери монастыря, я прошу одного — сделайте так, чтобы сегодня, завтра, через несколько дней их дурно охраняли, и постарайтесь заметить мой побег как можно позже…

— Несчастная! Как смеете вы предлагать мне

это?

— Я только даю совет, и добрая, разумная настоятельница должна была бы последовать ему в отношении всех тех, для кого монастырь — тюрьма. Для меня же он в тысячу раз страшнее тюрьмы, настоящей тюрьмы, где содержат преступников. Либо я выйду отсюда, либо погибну… Сударыня, — торжественно продолжала я, смело глядя на нее, — выслушайте меня: если закон, к которому я обратилась, обманет мои ожидания, то чувство отчаяния — а я слишком хорошо знакома с ним — может толкнуть меня на… здесь есть колодец… в доме есть окна… повсюду есть стены… есть платье… которое можно разорвать… руки, которыми можно…

— Замолчите, несчастная! Я содрогаюсь! Как! Вы могли бы?..

— Если бы не было таких средств, которые помогают сразу покончить с житейскими невзгодами, я могла бы отказаться от пищи. Мы вольны есть и пить, а вольны и голодать… Если после того, что я вам сказала, у меня хватит мужества — а вы знаете, что у меня его достаточно и что в иных случаях жить труднее, чем умереть, — вообразите себя перед судом божиим и скажите мне, кто после этого покажется господу более виновной

— настоятельница или ее монахиня? Сударыня, я не требую обратно того, что дала обители, и никогда не потребую. Избавьте меня от злодеяния, избавьте себя от длительных угрызений совести, давайте придем к соглашению…

— Что вы говорите, сестра Сюзанна! Чтобы я нарушила первейшую свою обязанность, приложила руку к преступлению, приняла участие в кощунстве!

— Истинное кощунство, сударыня, совершаю я, совершаю его ежедневно, оскверняя презрением священные одежды, которые ношу. Снимите их с меня, я их недостойна, пошлите в деревню за лохмотьями самой бедной крестьянки, и пусть двери монастырской ограды приоткроются для меня.

— А куда же вы пойдете искать лучшего?

— Не знаю куда, но нам плохо лишь там, где бог не хочет нас, а бог не хочет, чтобы я была здесь.

— У вас ничего нет.

— Это правда, но меньше всего я боюсь нужды.

— Бойтесь пороков, к которым она приводит.

— Мое прошлое — порука за будущее. Если б я хотела слушать голос греха, я была бы уже свободна, но я хочу выйти из этой обители либо с вашего согласия, либо с разрешения закона. Выбирайте…

Этот разговор длился долго. Вспоминая его, я краснею за нескромные и нелепые вещи, которые делала и говорила. Но их уже не вернешь. Настоятельница все еще восклицала: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?» — когда колокол, призывавший на молитву, прервал нас. Уходя, она сказала:

— Сестра Сюзанна, сейчас вы придете в церковь. Попросите бога, чтобы он тронул ваше сердце и вернул вам смирение, подобающее вашему званию. Спросите вашу совесть и доверьтесь тому, что она вам скажет: не может быть, чтобы она не стала упрекать вас. Освобождаю вас от пения.

Мы спустились вниз почти одновременно. Когда служба кончилась и все сестры уже собирались разойтись по кельям, настоятельница постучала пальцем по требнику и задержала их.

— Сестры мои, — сказала она, — призываю вас пасть к подножию алтаря и молить бога сжалиться над одной монахиней, которую он покинул. Она утратила склонность к монашеству, дух благочестия и готова совершить поступок, святотатственный в глазах бога и постыдный в глазах людей.

Не могу вам описать всеобщее изумление. В одно мгновение каждая, не двигаясь с места,

окинула взглядом своих товарок, надеясь, что смущение выдаст виновную. Все упали ниц и молились молча. Это длилось довольно долго, затем настоятельница вполголоса запела «Veni, Creator»,[7] и все тихо продолжали «Veni, Creator». После этого снова наступило молчание, настоятельница постучала по алтарю, и все разошлись.

Можете себе представить, какие разговоры пошли в монастырской общине. «Кто это? Кто бы это мог быть? Что она сделала? Что она собирается сделать?..» Эти догадки длились недолго. О моем прошении заговорили в миру. У меня перебывало множество посетителей. Одни упрекали меня, другие давали советы, некоторые одобряли, иные порицали. У меня было лишь одно средство оправдаться в глазах всех — рассказать о поведении моих родителей; но вы понимаете, какую осторожность я должна была соблюдать в этом вопросе. Только с несколькими искренне преданными мне людьми и с г-ном Манури, взявшимся вести мое дело, я могла быть вполне откровенна. Бывали минуты, когда меня охватывал страх перед грозившими мне мучениями, и тогда карцер, где я была заперта однажды, вставал в моем

---

[7] Примечания: 7
Прииди, создатель *(лат.)*.

воображении со всеми его ужасами: я уже знала, что такое ярость монахинь. Я поделилась своими опасениями с г-ном Манури, и он сказал мне: «Разумеется, вам не избежать всякого рода неприятностей. Они у вас будут, и вы давно должны были подготовиться к ним. Надо вооружиться терпением и поддерживать себя надеждой на то, что они кончатся. Что до этого карцера, то я обещаю вам, что вы никогда больше не попадете туда. Это я беру на себя…» И действительно, через несколько дней он привез настоятельнице предписание вызывать меня в приемную, когда бы это ни потребовалось.

На следующий день после церковной службы общине было опять предложено молиться за меня. Монахини молились молча, а потом тихо пропели тот же гимн, что и накануне. На третий день — то же самое, с той лишь разницей, что мне было приказано стоять посреди церкви, а вокруг меня читали молитвы за умирающих и литании святым с припевом «Ora pro ea».[8] На четвертый день состоялась нелепая церемония, показывающая взбалмошный нрав настоятельницы. После церковной службы меня положили

[8] Примечания: 8
Молись за нее *(лат.)*.

в гроб посреди церкви, по бокам поставили свечи и кропильницу, покрыли меня саваном и прочли заупокойную молитву, после чего каждая монахиня, уходя, усердно кропила меня святой водой и говорила: «Requiescat in pace».[9] Надо знать язык монастырей, чтобы понять угрозу, заключавшуюся в этих последних словах. Две монахини сняли с меня саван, погасили свечи и ушли, оставив меня промокшей до нитки. Мое платье высохло на мне, так как мне не во что было переодеться. За этим испытанием последовало другое. Собралась вся община, меня объявили проклятой богом, мой поступок — вероотступничеством, и всем монахиням, под страхом нарушения обета послушания, было запрещено разговаривать со мной, в чем-либо помогать мне, приближаться ко мне и даже прикасаться к вещам, которыми я пользовалась. Приказания эти выполнялись с точностью. У нас узкие коридоры; в некоторых местах двое с трудом могут разойтись там. Так вот, если какая-нибудь монахиня шла мне навстречу, она сейчас же возвращалась назад или же со страхом прижималась к стене, придерживая покрывало и платье, чтобы только не прикоснуться к моей

[9] Примечания: 9
Да почиет с миром *(лат.)*.

одежде. Если надо было что-нибудь взять из моих рук, то я ставила эту вещь на пол, и ее брали тряпкой. Если же надо было передать какую-либо вещь мне, ее просто бросали. Когда какая-нибудь монахиня имела несчастье прикоснуться ко мне, она считалась осквернённой и шла на исповедь к настоятельнице, чтобы та отпустила ей этот грех. Лесть считается чем-то низменным и подлым; она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижения для другого. Как часто я вспоминала слова моей дорогой настоятельницы де Мони: «Дитя мое, среди всех этих девушек, находящихся среди нас, таких послушных, невинных и кротких, нет почти ни одной, да, ни одной, из которой я не могла бы сделать дикого зверя. Странное превращение! И оно происходит тем легче, чем раньше девушка попадает в келью и чем меньше она знает жизнь. Эти слова удивляют вас, сестра Сюзанна? Упаси вас господь испытать на себе, насколько они правдивы! Знайте: хорошая монахиня — лишь та, которая пришла в монастырь, чтобы искупить какой-нибудь тяжкий грех».

Меня не допускали ни к какой работе. В церкви по обе стороны от меня оставляли по одному

пустому сиденью. В трапезной я сидела за отдельным столом, и мне ничего не подавали. Я вынуждена была сама ходить на кухню и просить свою порцию. В первый раз сестра-стряпуха крикнула мне:

— Не входите, отойдите подальше.

Я повиновалась.

— Что вам надо?

— Есть.

— Есть! Вы недостойны жить…

Иногда я уходила и оставалась целый день без пищи, иногда же требовала ее, и мне ставили на пол еду, которую постыдились бы дать скотине. Я со слезами подбирала ее и уходила. Если мне случалось последней подойти к двери, ведущей на клирос, она оказывалась запертой. Тогда я становилась на колени и ждала конца службы. Если запертой оказывалась садовая калитка, я возвращалась в свою келью. Между тем силы мои все убывали от недостаточности и дурного качества пищи, которую мне давали, а главное — от горя, причиняемого мне этими постоянными проявлениями бесчеловечности. Я почувствовала, что, если буду по-прежнему страдать молча, мне ни за что не дожить до конца моего процесса. Итак, я решила поговорить с настоятельницей.

Полумертвая от страха, я все же подошла к ее двери и тихонько постучалась. Она отворила. Увидев меня, она отступила на несколько шагов с криком:

— Вероотступница, отойдите!

Я отошла.

— Дальше.

Я отошла дальше.

— Что вам надо?

— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, поэтому я прошу вас, сударыня, приказать, чтобы мне дали жить.

— Жить! Да разве вы достойны жить? — сказала она, повторяя слова сестры-стряпухи.

— Про то знает бог, и я предупреждаю, что, если мне будут отказывать в пище, я вынуждена буду подать жалобу лицам, принявшим меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь лишь временно, до тех пор, пока не решится мое пребывание в монашестве, пока не решится моя участь.

— Идите, — сказала она, — не оскверняйте меня своим взглядом. Я распоряжусь…

Я повернулась и резко захлопнула дверь. Должно быть, она отдала соответствующее распоряжение, но мне отнюдь не стало легче, так как считалось заслугой не подчиняться ей в этом: мне

швыряли самую грубую пищу да еще портили ее, примешивая к ней золу и всякие отбросы.

Такую жизнь вела я, пока тянулся мой процесс. Вход в приемную не был мне окончательно запрещен, у меня не могли отнять право говорить с судьями и адвокатом, но, чтобы добиться свидания со мной, последнему неоднократно приходилось прибегать к угрозам. В этих случаях меня сопровождала одна из сестер. Она была недовольна, когда я говорила тихо, сердилась, если я задерживалась слишком долго, прерывала меня, опровергала, противоречила мне, повторяла настоятельнице мои слова, искажая их, истолковывая в дурном смысле, быть может, даже приписывая мне то, чего я вовсе не говорила. Дело дошло до того, что меня начали обворовывать, похищать мои вещи, забирать мои стулья, простыни, матрацы. Мне перестали давать чистое белье, моя одежда изорвалась, я ходила почти босая. С трудом удавалось мне добывать себе воду. Много раз приходилось самой ходить за ней к колодцу — к тому самому колодцу, о котором я вам говорила. Всю мою посуду перебили, и, не имея возможности унести воду домой, я должна была пить ее тут же на месте. Под окнами келий я должна была проходить как

можно скорее, чтобы не быть облитой нечистотами. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Опасаясь, как бы я не пожаловалась на все это нашим духовникам, мне запретили ходить на исповедь.

Однажды в большой праздник — кажется, это был день Вознесения — меня заперли на замок в келье, и я не смогла пойти к обедне. Быть может, я была бы совершенно лишена возможности посещать церковную службу, если бы не г-н Манури, которому сначала говорили, что никто не знает, где я, что я куда-то исчезла и не исполняю никаких обязанностей, подобающих христианке. Между тем, исцарапав себе руки, я все же сломала замок и дошла до двери, ведущей на клирос; она оказалась запертой, как это бывало всегда, когда я приходила не из первых. Я легла на пол, прислонившись головой и спиной к стене и скрестив на груди руки, так что мое тело загораживало дорогу. Когда служба кончилась и монахини начали выходить, первая из них внезапно остановилась. Вслед за ней остановились и остальные. Настоятельница поняла, в чем дело, и сказала:

— Шагайте по ней, это все равно что труп.

Некоторые повиновались и начали топтать меня ногами. Другие оказались более человечны-

ми, но ни одна не посмела протянуть мне руку и поднять меня. Во время моего отсутствия у меня похитили из кельи мою молитвенную скамеечку, портрет основательницы нашего монастыря, все иконы, унесли даже и распятие. Мне оставили лишь то, которое было у меня на четках, но вскоре забрали и его. Таким-то образом я жила в голых четырех стенах, в комнате без двери, без стула — я вынуждена была теперь либо стоять, либо лежать на соломенном тюфяке. У меня не было никакой, даже самой необходимой посуды, что вынуждало меня выходить ночью для удовлетворения естественной надобности, а наутро меня обвиняли в том, что я нарушаю покой монастыря, брожу, теряю рассудок. Так как келья моя больше не запиралась, ночью ко мне с шумом входили, кричали, трясли мою кровать, били стекла, всячески пугали меня. Шум доходил до верхнего этажа, доносился до нижнего, и те монахини, которые не состояли в заговоре, говорили, что в моей комнате происходят странные вещи, что оттуда слышны зловещие голоса, крики, лязг цепей, что я разговариваю с привидениями и злыми духами, что, должно быть, я продала душу дьяволу и надо бежать вон из моего коридора.

В монастырских общинах есть слабоумные;

таких даже очень много. Они верили всему, что им рассказывали, не смели пройти мимо моей двери, их расстроенному воображению я представлялась чудовищем, и, встречаясь со мной, они крестились и убегали с криком: «Отойди от меня, сатана! Господи, помоги мне!..» Как-то раз одна из самых молодых показалась в конце коридора, когда я шла в ее сторону. Она никак не могла избежать встречи со мной, и ее охватил дикий ужас. Сначала она отвернулась к стене, бормоча дрожащим голосом: «Господи! Господи! Иисусе! Дева Мария!..» Между тем я приближалась. Почувствовав, что я рядом с ней, и боясь увидеть меня, она обеими руками закрыла лицо, ринулась в мою сторону, бросилась прямо ко мне в объятия и закричала: «На помощь! На помощь! Пощадите! Я погибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла! Сестра Сюзанна, сжальтесь надо мной!..» И с этими словами она замертво упала на пол.

Все сбегаются на ее крики, ее уносят, и не могу вам передать, как извратили всю эту историю. Меня сделали настоящей преступницей, стали говорить, что мною овладел демон распутства, приписали мне намерения и поступки, которые я не решаюсь назвать, а явный беспорядок в одежде

молодой монахини объяснили моими противоестественными желаниями. Я не мужчина и, право, не знаю, что можно вообразить о женщине, когда она находится с другой женщиной, и еще меньше — о женщине, когда она одна. Однако у моей кровати сняли полог, ко мне в комнату входили в любое время, и знаете, сударь, должно быть, при всей их внешней сдержанности, при скромности их взглядов и целомудренном выражении лиц у этих женщин очень развращенное сердце: во всяком случае, они знают, что в одиночестве можно совершать непристойные вещи, я же этого не знаю и никогда не могла хорошенько понять, в чем они меня обвиняли, ибо они изъяснялись в таких туманных выражениях, что я совершенно не знала, что отвечать им.

Если я стану описывать эти преследования во всех подробностях, то никогда не кончу. Ах, сударь, если у вас есть дочери, то пусть моя судьба покажет вам, что нельзя позволять им вступать в монашество без сильнейшего и резко выраженного призвания к нему. Как несправедливы люди! Они разрешают ребенку распоряжаться своей свободой в таком возрасте, когда ему еще не разрешают распорядиться даже одним экю. Лучше убейте свою дочь, но не запирайте в мо-

настырь против ее воли. Да, лучше убейте ее. Сколько раз я жалела, что моя мать не задушила меня, как только я родилась! Это было бы менее жестоко. Поверите ли вы, что у меня отняли требник и запретили молиться богу? Разумеется, я не подчинилась. Увы, ведь это было моим единственным утешением! Я воздымала руки к небу, испускала крики и дерзала надеяться, что их слышит единственное существо, которое видело все мое горе. Монахини подслушивали меня за дверью, и однажды, когда из глубины своего удрученного сердца я обращалась к богу, взывая о помощи, одна из них крикнула мне:

— Тщетно вы призываете бога: для вас его больше нет. Умрите в отчаянии и будьте прокляты…

Остальные добавили: «Да будет так с вероотступницей! Аминь!»

Но вот еще один факт, который, наверно, поразит вас больше, чем все остальное. Не знаю, что это было, злоба или заблуждение, но, хотя я не сделала ничего такого, что указывало бы на умственное расстройство или тем более на одержимость, монахини начали совещаться, не следует ли изгнать из меня беса. И вот большинством голосов было решено, что я отреклась от миропомазания и от крещения, что в меня

вселился злой дух и что это он удаляет меня от богослужений. Одна сообщила, что при некоторых молитвах я скрежетала зубами и содрогалась в церкви, что при возношении святых даров я ломала руки; другая добавила, что я топтала ногами распятие, перестала носить четки (которые у меня украли) и что я произносила такие богохульства, которых, право, не смею повторить перед вами. И все они твердили, что на мне видны козни дьявола, о чем необходимо сообщить старшему викарию. Так они и сделали.

Старшим викарием был в то время некто г-н Эбер, человек пожилой и опытный, резкий, но справедливый и просвещенный. Ему подробно рассказали о неурядицах в монастыре; нет сомнения, что неурядицы эти были велики, но если я и была их причиной, то причиной поистине невольной. Вы, конечно, понимаете, что в посланном ему донесении не были забыты ни мои ночные прогулки, ни мое отсутствие в хоре, ни суматоха, происходившая в моей келье; в нем было все — и то, что видела одна, и то, что слышала другая, и мое отвращение к святыням, и мои богохульства, и приписываемые мне непристойные поступки; а что касается приключения с молодой монахиней, то из него сделали

настоящее преступление. Обвинения были так многочисленны и так серьезны, что при всем своем здравом смысле г-н Эбер не мог не поддаться этому обману хотя бы частично и решил, что в них значительная доля правды. Дело показалось ему достаточно важным, чтобы заняться им лично. Он предупредил о своем посещении и явился в сопровождении двух состоявших при нем молодых священников, помогавших ему в его трудных обязанностях.

Незадолго перед этим, ночью, кто-то тихо вошел в мою келью. Я ничего не сказала, выжидая, чтобы со мной заговорили, и чей-то тихий, дрожащий голос окликнул меня:

— Сестра Сюзанна, вы спите?

— Нет, не сплю. Кто это?

— Это я.

— Кто — вы?

— Ваша подруга. Я умираю от страха и рискую погубить себя, но хочу дать вам один совет, хотя и не знаю, поможет ли он вам. Слушайте: завтра или послезавтра к нам должен приехать старший викарий; вас будут обвинять, приготовьтесь защищаться. Прощайте. Мужайтесь, и да пребудет с вами бог.

Сказав это, она исчезла как тень.

Как видите, повсюду, даже в монастырях, есть сердобольные души, которые ничто не может ожесточить.

Между тем за моим процессом следили с горячим пристрастием; множество лиц обоего пола, разного общественного положения и состояния, с которыми я не была знакома, заинтересовались моей судьбой и ходатайствовали за меня. Вы, сударь, принадлежали к их числу, и, может быть, история моего процесса известна вам лучше, чем мне самой, так как к концу его я больше не имела возможности беседовать с г-ном Манури. Ему сказали, что я больна; он заподозрил, что его обманывают, и, предположив, что меня заперли в карцер, обратился к архиепископу, который не удостоил его выслушать, так как был предупрежден, что я безумная, а может быть, и нечто похуже. Тогда г-н Манури обратился к судьям, настаивая на выполнении приказа, согласно которому настоятельница была обязана предъявлять меня по первому требованию живой или мертвой. Началось препирательство между церковными судьями и светскими. Первые поняли, какие последствия мог иметь подобный случай, и, видимо, именно это ускорило посещение старшего викария. Обычно же эти господа не так уж

торопятся вмешиваться в раздоры, постоянно происходящие в монастырях, так как по опыту знают, что их авторитет всегда можно обойти или подорвать.

Я воспользовалась предупреждением подруги и, призывая на помощь бога, старалась укрепить свой дух и подготовиться к защите. Я молила небо об одном — о счастье быть допрошенной и выслушанной без пристрастия, и я добилась этого счастья, но сейчас вы узнаете, какой ценой. Если в моих интересах было предстать перед моим судьей ни в чем не повинной и разумной, то моей настоятельнице было не менее важно, чтобы он увидел меня злобной, одержимой, преступной и безумной. И в то время как я удвоила свое молитвенное рвение, она удвоила свою жестокость. Теперь мне давали ровно столько пищи, сколько требовалось, чтобы не умереть с голоду; меня измучили преследованиями и старались запугать еще больше; мне теперь совсем не давали спать по ночам; словом, было пущено в ход все, что могло подорвать здоровье и помутить рассудок. Вы не можете себе представить всю утонченность этих пыток. Судите по следующим выходкам.

Как-то раз, выйдя из кельи и направляясь в церковь или куда-то в другое место, я увидела,

что на полу в коридоре валяются каминные щипцы. Я нагнулась, чтобы поднять их и положить в такое место, где их легко могли бы найти, но в полумраке не разглядела, что они были раскалены почти докрасна. Я схватила их и тотчас же выпустила из рук, но при падении они содрали почти всю кожу с моей ладони. В тех местах, где я должна была проходить ночью, кто-то бросал на пол разные предметы, чтобы я споткнулась, или подвешивал их на уровне моей головы — так что я постоянно ушибалась. Сама не понимаю, как это я не разбилась до смерти. Мне нечем было посветить себе, и приходилось идти, дрожа от страха, вытянув перед собой руки. Мне сыпали под ноги битое стекло. Я твердо решила рассказать обо всех этих издевательствах и до некоторой степени сдержала слово. Дверь в отхожее место часто оказывалась запертой, и мне приходилось спускаться с нескольких этажей и бежать в глубь сада, если калитка была отперта, а если нет… Ах, сударь, как злы эти женщины-затворницы, когда они уверены в том, что способствуют утолению ненависти своей настоятельницы и верят, что, повергая вас в отчаяние, служат богу! Да, пора было приехать старшему викарию, пора было кончиться моему процессу.

То была критическая минута моей жизни. Подумайте только, сударь, ведь я совершенно не знала, какими красками расписали меня этому священнослужителю, не знала, что он приедет, любопытствуя увидеть девушку, которая одержима дьяволом или притворяется одержимой. Было решено, что только сильный страх может привести меня в такое состояние. И вот что придумали для этой цели.

В день посещения старшего викария, ранним утром, настоятельница вошла в мою келью. С ней были три монахини. Одна несла кропильницу, другая — распятие, третья — веревки. Громким и угрожающим голосом настоятельница сказала мне:

— Поднимитесь… Станьте на колени и поручите вашу душу богу.

— Сударыня, — сказала я, — прежде чем я исполню ваше приказание, нельзя ли мне спросить у вас, что со мной будет, что вы решили со мной сделать и о чем я должна просить бога?

Все мое тело покрылось холодным потом, я дрожала, у меня подгибались колени. Я с ужасом смотрела на трех зловещих спутниц настоятельницы. Они стояли в ряд, лица их были мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Голос мой прерывал-

ся от страха после каждого произнесенного слова. Так как все молчали, мне показалось, что меня не расслышали, и я повторила последние слова своего вопроса — у меня не хватило сил повторить его весь целиком. Итак, слабым, замирающим голосом я переспросила:

— Какой милости должна я просить у бога?

Мне ответили:

— Просите его отпустить вам грехи всей вашей жизни. Говорите с ним так, как если бы вы готовились предстать перед ним.

Когда я услыхала эти слова, мне пришло в голову, что они обсудили дело между собой и решили избавиться от меня. Я слышала, что такие случаи и в самом деле бывали в некоторых мужских монастырях, что монахи судят, выносят смертный приговор и сами приводят его в исполнение. Правда, я не думала, что такой бесчеловечный суд когда-либо имел место хоть в одном женском монастыре; но было столько вещей, о существовании которых я не подозревала и которые все же происходили здесь! При мысли о близкой смерти я хотела вскрикнуть, но, хотя рот мой был открыт, из него не вылетело ни звука. Я с мольбой протянула к настоятельнице руки, и мое бессильное тело откинулось назад. Я упала,

но мое падение было безболезненным. В подобные минуты — минуты смертельного страха — силы оставляют нас, ноги подкашиваются, а руки повисают, словно человеческий организм, не будучи в состоянии защитить себя, старается угаснуть незаметно. Я потеряла сознание и способность чувствовать; я только слышала вокруг себя неясный и отдаленный гул голосов. Быть может, кто-то разговаривал; быть может, у меня звенело в ушах. Я не различала ничего, кроме этого гула, который продолжался довольно долго. Не знаю, сколько времени пробыла я в таком состоянии, но меня вывело из него внезапное ощущение холода; я вздрогнула и глубоко вздохнула. Я насквозь промокла, вода стекала с моего платья на пол: на меня была опрокинута большая кропильница. Полумертвая, лежала я на боку, в луже воды, прислонившись головой к стене, с приоткрытым ртом и с закрытыми глазами. Я хотела было открыть их и оглядеться, но какой-то густой туман обволакивал меня, и сквозь него мне мерещились чьи-то развевающиеся одежды, к которым я тщетно пыталась прикоснуться. Я шевельнула свободной рукой, той, на которую не опиралась, и хотела поднять ее, но она показалась мне слишком тяжелой. Однако мало-помалу

моя смертельная слабость стала проходить. Я приподнялась и села, прислонясь спиной к стене. Обе мои руки лежали в воде, голова свесилась на грудь, я издавала невнятные, прерывистые, мучительные стоны. Во взгляде смотревших на меня женщин я прочитала такую непреклонность, что примирилась с неизбежным и не решилась молить их о пощаде.

Настоятельница сказала:

— Поднимите ее.

Меня взяли под руки и подняли.

— Она не хочет поручить себя богу, — продолжала настоятельница, — тем хуже для нее. Вы знаете, что вам надлежит делать. Кончайте.

Я подумала, что принесенные веревки были предназначены для того, чтобы удавить меня, и посмотрела на них глазами, полными слез. Я попросила дать мне поцеловать распятие — мне отказали в этом. Я попросила разрешения поцеловать веревки — мне поднесли их. Я нагнулась, взяла нарамник настоятельницы, поцеловала его и сказала:

— Господи, смилуйся надо мной! Господи, смилуйся надо мной! Милые сестры, постарайтесь не очень мучить меня.

И я подставила им шею.

Не могу вам сказать, что со мной было, что со мной делали. Нет сомнения, что те, кого ведут на казнь, — а я думала, что меня ведут на казнь, — умирают до совершения ее. Я очнулась на соломенном тюфяке, служившем мне постелью; руки мои были связаны за спиной, я сидела с большим железным распятием на коленях…

…Господин маркиз, я понимаю, какую боль причиняю вам сейчас; но вы пожелали узнать, заслуживаю ли я, хотя бы в малой степени, того сострадания, которого я жду от вас…

Вот когда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Какая глубокая мудрость заключается в том, что слепая философия называет «безумием креста». Что мог бы мне дать в этом моем состоянии образ счастливого законодателя, увенчанного славой? Передо мной был невинный страдалец, угасающий в мучениях, с пронзенным боком, с терновым венцом на челе, с пригвожденными руками и ногами, и я говорила себе: «Ведь это мой господь, а я еще смею жаловаться!..» Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утешение воскресает в моем сердце. Я познала ничтожество жизни и была более чем счастлива, что теряю ее, не успев умножить свои грехи. И

все же, вспоминая о своей молодости — мне не было еще и двадцати лет, — я вздохнула: я была слишком слаба, слишком разбита, чтобы дух мой мог восторжествовать над страхом смерти. Мне кажется, что, будь я вполне здорова, я могла бы встретить ее с большим мужеством.

Между тем настоятельница и ее спутницы вернулись. Они обнаружили во мне большее присутствие духа, чем ожидали и чем бы им хотелось видеть. Они поставили меня на ноги и закрыли лицо покрывалом. Две взяли меня под руки, третья подтолкнула сзади, и настоятельница велела мне идти вперед. Я шла, не видя куда, но думая, что иду на казнь, и повторяла: «Господи, смилуйся надо мной! Господи, поддержи меня! Господи, не покинь меня! Господи, прости, если я чем-нибудь прогневала тебя».

Меня привели в церковь. Старший викарий служил там обедню. Вся община была в сборе. Забыла вам сказать, что, когда я входила в дверь, три сопровождавшие меня монахини стиснули меня, начали изо всех сил толкать и подняли возню, делая вид, что я сопротивляюсь и ни за что не хочу входить в церковь, хотя в действительности ничего подобного не было: одна тащила меня за руку, другие держали сзади. Я едва стояла

на ногах. Меня подвели к ступенькам алтаря и, сильно потянув за руки, поставили на колени, словно я отказывалась сделать это добровольно. Меня все время крепко держали, как будто я намеревалась убежать. Запели *«Veni, Creator»*, выставили святые дары, и викарий благословил присутствующих. Во время благословения, когда все кладут поклоны, одна из державших меня сестер как бы насильно пригнула мне голову к земле, а остальные надавили руками на плечи. Я ощущала все эти движения, но не могла понять, какова была их цель. Наконец все разъяснилось.

После благословения старший викарий снял ризу и, облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился к ступеням того алтаря, где я стояла на коленях. Он шел между двумя священниками, повернувшись спиной к алтарю, где были выставлены святые дары, а лицом ко мне. Он приблизился ко мне и сказал:

— Сестра Сюзанна, встаньте.

Державшие меня сестры резко подняли меня, другие окружили, обхватив за талию, словно боясь, что я вырвусь. Он добавил:

— Развяжите ее.

Монахини не выполнили его приказания, показывая знаками, что неудобно и даже опасно

оставлять меня на свободе. Однако я уже говорила вам, что викарий был человек крутого нрава. Он повторил твердым и суровым голосом:

— Развяжите ее.

Они повиновались.

Как только мои руки освободились от веревок, я издала такой громкий и мучительный стон, что старший викарий побледнел, а лицемерные монахини, стоявшие около меня, разбежались как бы в испуге.

Он овладел собой, и сестры снова подошли ко мне, делая вид, что дрожат от страха. Я продолжала стоять неподвижно, и он спросил:

— Что с вами?

Вместо ответа я протянула ему обе руки: веревка, которой я была скручена, впилась мне в тело почти до кости, и руки совсем посинели от застоя крови. Он понял, что мой стон был вызван внезапной болью, причиненной восстановлением кровообращения, и сказал:

— Снимите с нее покрывало.

Перед этим, незаметно для меня, мое покрывало в нескольких местах пришили к платью, и теперь, снимая его, сестры опять проявили замешательство и много ненужного усердия: им непременно хотелось, чтобы этот священно-

служитель увидел меня одержимой, бесноватой или безумной. Однако, когда они начали сильно дергать, нитки кое-где порвались, а кое-где порвалось покрывало и платье, и все увидели меня.

У меня привлекательное лицо. Сильные страдания изменили его, но выражение осталось то же. Звук моего голоса способен растрогать; чувствуется, что его интонации правдивы. Все это вместе произвело на молодых помощников старшего викария сильное впечатление, и их охватила жалость. Что до него самого, то ему было неведомо это чувство. Справедливый, но далеко не мягкосердечный, он принадлежал к числу людей, которые рождены служить добродетели, но которым, к несчастью, не дано вкусить ее сладость. Они делают добро, движимые чувством долга, повинуясь доводам рассудка. Он взял рукав своей епитрахили, возложил его мне на голову и спросил:

— Сестра Сюзанна, верите ли вы в бога отца, сына и святого духа?

Я ответила:

— Верую.

— Верите ли вы в нашу матерь святую церковь?

— Верую.

— Отрекаетесь ли вы от сатаны и дел его?

Вместо ответа я внезапно рванулась вперед, громко вскрикнула, и кончик рукава епитрахили старшего викария соскользнул у меня с головы. Он вздрогнул, спутники его побледнели. Среди сестер произошло смятение: одни убежали, другие с шумом вскочили со своих молитвенных скамей. Он знаком приказал им успокоиться, а сам смотрел на меня, ожидая чего-то необычайного. Я успокоила его, сказав:

— Сударь, не случилось ничего особенного. Просто кто-то из монахинь больно уколол меня чем-то острым.

И, подняв глаза и руки к небу, я добавила, заливаясь слезами:

— Меня ранили в ту самую минуту, когда вы спросили, отрекаюсь ли я от сатаны и от его гордыни, и я прекрасно понимаю, зачем это понадобилось…

Настоятельница от лица всех монахинь заявила, что никто ко мне не прикасался.

Старший викарий снова возложил мне на голову край своей епитрахили. Монахини хотели подойти ближе, но он знаком приказал им отойти в сторону, а затем снова спросил у меня, отрекаюсь ли я от сатаны и его деяний, и я твердо

ответила:

— Отрекаюсь.

Он велел принести распятие и дал мне приложиться к нему. Я приложилась к изображению Христа, к его ступням, рукам и к ране в боку.

Он приказал мне вслух воздать хвалу господу. Я поставила распятие на пол, опустилась на колени и сказала:

— Господи, спаситель мой, умерший на кресте за мои грехи и грехи всего рода человеческого! Я поклоняюсь тебе! Спаси меня заслугою мук, которые ты принял, пролей на меня каплю крови, которою ты истекал, дабы я очистилась ею. Прости меня, боже, как я прощаю всем врагам своим…

Затем он сказал мне:

— Исповедуйте веру. — И я исполнила это.

— Исповедуйте любовь. — И я исполнила это.

— Исповедуйте надежду. — И я исполнила это.

— Исповедуйте милосердие. — И я исполнила это.

Не помню точно моих выражений, но, должно быть, они были возвышенны, ибо я исторгла рыдания у некоторых монахинь, два молодых священника прослезились, а викарий с удивлением спросил у меня, откуда я взяла молитвы,

которые только что произнесла.

Я ответила ему:

— Из глубины моего сердца. Это мои собственные мысли и чувства — призываю в свидетели бога, который внемлет нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка, я ни в чем не повинна. Если я совершила какие-нибудь прегрешения, о них знает один бог, и только он имеет право потребовать меня к ответу и наказать за них.

При этих словах старший викарий грозно взглянул на настоятельницу.

Вскоре эта церемония, во время которой хотели оскорбить величие бога, надругаться над всем святым и подвергнуть осмеянию служителя церкви, пришла к концу. Монахини удалились, и остались лишь настоятельница, я и молодые священники. Старший викарий сел и, вынув полученное им донесение с выдвинутыми против меня обвинениями, прочитал его вслух, задавая мне вопросы по всем содержавшимся в нем пунктам.

— Почему вы никогда не исповедуетесь? — спросил он.

— Потому, что мне препятствуют в этом.

— Почему вы никогда не причащаетесь?

— Потому, что мне препятствуют в этом.

— Почему вы не присутствуете ни на литургии, ни на других богослужениях?

— Потому, что мне препятствуют в этом.

Настоятельница хотела было вмешаться, но он прервал ее со своей обычной резкостью:

— Замолчите, сударыня… Почему вы выходите по ночам из своей кельи?

— Потому, что мне не дают воды, отняли у меня кувшин и посуду, необходимую для отправления естественных потребностей.

— Почему по ночам слышен шум в вашем коридоре и в вашей келье?

— Это делается для того, чтобы лишить меня покоя.

Настоятельница снова хотела заговорить, но он сказал ей во второй раз:

— Сударыня, я уже велел вам молчать. Вы ответите тогда, когда я спрошу вас… Что это за история с монахиней, которую вырвали из ваших рук и нашли лежащей без чувств в коридоре?

— Это результат страха, который внушили ей по отношению ко мне.

— Это ваша подруга?

— Нет, сударь.

— Вы никогда не входили в ее келью?

— Никогда.

— Вы никогда не делали ничего непристойного ни с нею, ни с другими?

— Никогда.

— Почему вас связали?

— Не знаю.

— Почему ваша келья не запирается?

— Потому, что я сломала дверной замок.

— Для чего вы сломали его?

— Для того, чтобы открыть дверь и присутствовать на богослужении в день Вознесения господня.

— Значит, в этот день вы появлялись в церкви?

— Да, сударь.

— Сударь, это неправда, — вмешалась настоятельница, — вся община…

— Вся община удостоверит, — перебила я ее, — что дверь на клирос была заперта, что монахини нашли меня лежащей на полу у этой двери и что вы приказали им топтать меня ногами, причем некоторые сделали это, — но я прощаю их, прощаю и вас, сударыня, хотя вы и отдали такое приказание. Я пришла сюда не обвинять, а защищаться.

— Почему у вас нет ни четок, ни распятия?

— Потому, что у меня отняли их.

— Где ваш требник?

— У меня отняли его.

— Как же вы молитесь?

— Я молюсь сердцем и умом, хотя мне и запретили молиться.

— Кто же запретил вам это?

— Настоятельница.

Настоятельница снова хотела заговорить.

— Сударыня, — сказал он, — правда это или ложь, что вы запретили ей молиться? Да или нет?

— Я думала и имела основание думать, что…

— Дело не в этом. Запретили вы ей молиться? Да или нет?

— Я запретила ей, но…

— Но, — повторил он, — но… Сестра Сюзанна, почему вы ходите босая?

— Потому, что мне не дают ни чулок, ни башмаков.

— Почему ваше белье и платье так ветхи и так грязны?

— Потому, что уже более трех месяцев мне не дают чистого белья, и я вынуждена спать в одежде.

— Почему же вы спите в одежде?

— Потому, что у меня нет ни полога, ни матра-

ца, ни одеяла, ни простынь, ни ночной рубашки.

— Почему же это так?

— Потому, что у меня все отобрали.

— Вас кормят?

— Я прошу об этом.

— Так, значит, вас не кормят?

Я промолчала, и он добавил:

— Не может быть, чтобы с вами обращались так сурово, если вы не совершили какого-нибудь серьезного проступка, заслуживающего наказания.

— Мой проступок в том, что я не призвана быть монахиней и хочу расторгнуть обет, который был дан мною против воли.

— Только суд может разрешить этот вопрос, и каково бы ни было его решение, вы временно должны исполнять все монашеские обязанности.

— Сударь, никто не выполняет их более усердно, нежели я.

— Вы должны пользоваться теми же правами, что и ваши товарки.

— Это все, о чем я прошу.

— У вас ни на кого нет жалоб?

— Нет, сударь, я уже сказала вам: я пришла сюда не обвинять, а защищаться.

— Идите.

— Куда я должна идти, сударь?

— В вашу келью.

Я сделала несколько шагов, потом вернулась и простерлась у ног настоятельницы и старшего викария.

— Что такое? В чем дело? — спросил он.

Я показала ему голову, разбитую в нескольких местах, окровавленные ноги, посиневшие худые руки, грязную разорванную одежду и сказала:

— Взгляните!

Я слышу ваш голос, господин маркиз, ваш и большинства тех, кто прочитает эти записки. «Какие ужасные злодеяния, и как они многочисленны, разнообразны, непрерывны! Какая утонченная жестокость в душе монахинь! Это невероятно!» — скажут они, скажете вы, и я соглашусь с вами. Однако все это правда, и пусть небо, которое я призываю в свидетели, накажет меня со всей суровостью и осудит на вечные муки, если я позволила клевете омрачить легкой тенью хотя бы одну из этих строк. Несмотря на то что я долгое время испытывала на себе враждебность настоятельницы и ясно видела, как сильно возрастает врожденная испорченность некоторых монахинь под влиянием этой враждебности, толкавшей их на злобные выходки и даже на-

граждавшей за них, чувство обиды никогда не помешает мне быть справедливой. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что все случившееся со мной никогда не случалось и, может быть, никогда больше не случится ни с кем другим. Один только раз (и дай бог, чтобы этот случай был первым и последним!) провидению понадобилось — а пути его неисповедимы — обрушить на голову одной страдалицы всю сумму жестокостей, предназначенных, в силу его непостижимых велений, на долю бесконечного множества несчастных обитательниц монастырей — ее предшественниц и ее преемниц. Я страдала, я много страдала, но участь моих гонительниц кажется и всегда казалась мне еще более достойной сожаления. Я предпочитала и предпочитаю умереть, нежели поменяться ролями с ними. Мои муки кончатся — ваша доброта дает мне надежду на это, — а воспоминание о совершенном преступлении, стыд и упреки совести не покинут их до смертного часа. Они уже осознали свою вину, не сомневайтесь в этом; они будут сознавать ее всю жизнь, и страх перед наказанием сойдет в могилу вместе с ними. И все-таки, господин маркиз, мое теперешнее положение плачевно и жизнь для меня — тяжкое бремя. Я

женщина, дух мой слаб, как у всех женщин, бог может меня покинуть. Я уже не чувствую в себе ни силы, ни мужества выносить дальше то, что выносила до сих пор. Бойтесь, господин маркиз, как бы не наступила роковая минута. Сколько бы вы ни оплакивали тогда мою участь, сколько бы ни терзались угрызениями совести, это не поможет мне выйти из бездны: я упаду в нее, и она навеки закроется над несчастной, которую довели до отчаяния.

— Идите, — сказал старший викарий.

Один из священников подал мне руку, чтобы помочь подняться, и старший викарий добавил:

— Я допросил вас, сейчас я допрошу вашу настоятельницу и не уеду отсюда до тех пор, пока порядок не будет восстановлен.

Я вышла. Всех остальных обитательниц монастыря я застала в тревоге. Монахини стояли на пороге своих келий и переговаривались друг с другом. Как только я появилась, они сейчас же ушли к себе, и все двери, одна за другой, с шумом захлопнулись. Я вернулась в свою келью и, упав на колени у стены, стала молить бога вознаградить меня за сдержанность, с какой я говорила со старшим викарием, и открыть последнему мою невинность, открыть ему истину.

Я еще молилась, когда старший викарий, оба его спутника и настоятельница вошли в мою келью. Я уже говорила, что у меня не было ни коврика, ни стула, ни скамеечки для молитвы, ни полога у кровати, ни матраца, ни одеяла, ни простынь, никакой посуды; дверь в келью не запиралась, а в окнах не было почти ни одного целого стекла. Я встала. Старший викарий остановился в изумлении и, бросив на настоятельницу негодующий взгляд, сказал ей:

— Ну, сударыня?

— Я ничего не знала, — ответила она.

— Не знали? Вы лжете! Разве был хоть один день, чтобы вы не заходили сюда? И разве не здесь были вы сегодня перед тем, как пришли в церковь?.. Сестра Сюзанна, отвечайте, была здесь сегодня ваша настоятельница?

Я молчала. Он не настаивал на ответе, но молодые священники стояли, опустив руки, понурив голову, устремив взор в землю, и вид их достаточно ясно говорил об испытываемом ими огорчении и изумлении. Затем все вышли, и я услыхала, как старший викарий сказал настоятельнице в коридоре:

— Вы недостойны оставаться в вашей должности. Вас следует сместить. Я подам жалобу

епископу. Чтобы все это безобразие было устранено еще до моего отъезда.

И, направляясь к выходу, он добавил, качая головой:

— Это чудовищно. Христианки! Монахини! Человеческие существа! Это чудовищно!

После того со мной ни о чем больше не говорили, но мне принесли белье, платье, полог, простыни, одеяло, посуду, мой требник, Священное Писание, четки, распятие; в окна вставили стекла; словом, было сделано все, чтобы уравнять мое положение с положением остальных монахинь. Выход в приемную был также разрешен мне, но только для деловых свиданий, связанных с моим процессом.

А дела мои шли плохо. Г-н Манури подал первую докладную записку, и она не произвела особого впечатления: в ней было слишком много рассуждений, слишком мало чувства и почти никаких доказательств. Нельзя полностью обвинять этого искусного адвоката. Я не разрешила ему набросить хоть малейшую тень на репутацию моих родителей. Я просила его щадить монашество и, главное, монастырь, в котором я находилась. Я не хотела, чтобы он изобразил моих зятьев и сестер в слишком непривлекательном виде. В

мою пользу говорил только мой первый протест, провозглашенный весьма торжественно, но высказанный в другом монастыре и впоследствии нигде не возобновленный. Когда вы ставите защитнику такие ограничения, имея дело с противником, который в своем нападении ни с чем не считается, попирает правду и неправду, утверждает и отрицает с одинаковым бесстыдством и не отступает ни перед ложным обвинением или подозрением, ни перед злословием, ни перед клеветой, вам трудно одержать победу. Ведь в судах, где привычка к надоевшим и скучным делам мешает внимательно отнестись даже к важнейшим, на такие процессы, как мой, всегда смотрят косо из политических соображений, опасаясь, как бы успех монахини, расторгающей обет, не вызвал такого же шага со стороны бесконечного множества других. Втайне люди чувствуют, что, если позволить дверям этих тюрем распахнуться перед одной несчастной, целая толпа других ринется к ним и попытается прорваться силой. Поэтому они стараются отнять у нас мужество и заставить покориться судьбе, убив всякую надежду на ее изменение. Мне кажется, однако, что в хорошо управляемом государстве следовало бы, напротив, затруднить вступление в монастырь

и облегчить выход оттуда. И почему бы не приравнять этот случай к множеству других, когда малейшее несоблюдение формальностей делает недействительной судебную процедуру, даже если она правильна во всем остальном? Разве монастыри так уж существенно необходимы для всякого государственного устройства? Разве это Иисус Христос учредил институт монахов и монахинь? Разве церковь не может обойтись без них совершенно? Зачем нужно небесному жениху столько неразумных дев, а роду человеческому — столько жертв? Неужели люди никогда не поймут, что необходимо сузить жерло той бездны, где гибнут будущие поколения? Стоят ли все избитые молитвы одного обола, подаваемого бедняку из сострадания? Может ли бог, сотворивший человека существом общественным, допустить, чтобы его запирали в келье? Может ли бог, создавший его столь непостоянным, столь слабым, узаконивать опрометчивые его обеты? И разве могут эти обеты, идущие вразрез со склонностями, заложенными в нас самой природой, строго соблюдаться кем-либо, кроме немногих бессильных созданий, у которых зародыши страстей уже зачахли и которых по праву можно было бы отнести к разряду уродов, если бы наши

познания позволяли нам так же легко и ясно разбираться в духовном строении человека, как в его телесной структуре? Разве мрачные обряды, соблюдаемые при принятии послушничества и при пострижении, когда мужчину или женщину обрекают на монашество и на несчастье, — разве они искореняют в нас животные инстинкты? И, напротив, не пробуждаются ли эти инстинкты, благодаря молчанию, принуждению и праздности, с такою силой, какая неведома мирянам, отвлекаемым множеством развлечений? Где можно встретить умы, одержимые нечистыми видениями, которые неотступно преследуют их и волнуют? Где можно встретить глубокое уныние, бледность, худобу — все эти признаки чахнущей и изнуряющей себя человеческой природы? Где слышатся по ночам тревожные стоны, а днем льются беспричинные слезы, которым предшествует беспредметная грусть? Где природа, возмущенная принуждением, ломает все поставленные перед нею преграды, приходит в неистовство и ввергает человека в такую бездну разврата, от которой нет исцеления? В каком другом месте и печаль, и злоба уничтожили все общественные инстинкты? Где нет ни отца, ни брата, ни сестры, ни родных, ни друга? Где

человек, считая себя явлением временным и быстропреходящим, относится к самым нежным узам в мире, как путник относится к встреченным в пути предметам, — без всякой привязанности к ним? Где обитают ненависть, отвращение и истерия? Где живут рабство и деспотизм? Где царит неутолимая злоба? Где тлеют созревшие в тиши страсти? Где развиваются жестокость и любопытство? «Никто не знает истории этих убежищ, — говорил впоследствии г-н Манури в своей речи на суде, — никто не знает ее». «Дать обет бедности, — добавлял он в другом месте, — значит, поклясться быть лентяем и вором. Дать обет целомудрия — значит, обещать богу постоянно нарушать самый мудрый и самый важный из его законов. Дать обет послушания — значит, отречься от неотъемлемого права человека — от свободы. Если человек соблюдает свой обет — он преступник, если нарушает его — он клятвопреступник. Жизнь в монастыре — это жизнь фанатика или лицемера».

Одна девушка просила у родителей разрешения вступить в наш монастырь. Отец сказал, что он согласен на это, но дает ей три года на размышление. Девушке, которая была исполнена религиозного пыла, это условие показалось слиш-

ком тяжелым. Однако пришлось подчиниться. Ее призвание не обмануло ее, она снова пришла к отцу и напомнила, что три года прошли. «Вот и хорошо, дитя мое, — ответил он. — Я дал вам эти три года, чтобы испытать вас; надеюсь, что и вы не откажете дать мне столько же, чтобы мог решиться я сам». Это показалось ей еще более мучительным. Были пролиты слезы, но отец был твердый человек и настоял на своем. По прошествии шести лет она вступила в монастырь и там приняла постриг. Это была хорошая монахиня, простодушная, благочестивая, добросовестно выполнявшая свои обязанности; но случилось, что духовники злоупотребили ее искренними признаниями и донесли церковному суду о том, что происходило в монастыре. Наше монастырское начальство догадалось об этом: ее посадили под замок, лишили возможности соблюдать религиозные обряды, и в конце концов она сошла с ума. Да и какой ум мог бы устоять против преследования пятидесяти женщин, которые с утра до вечера заняты единственно тем, что мучают вас? Еще до того матери этой затворницы расставили ловушку, ясно свидетельствующую о жадности, царящей в монастырях. Ей внушили мысль приехать в монастырь и посетить келью дочери. Она

обратилась к старшему викарию, и он разрешил ей это. Она приехала, вбежала в келью. Каково же было ее удивление, когда она увидела лишь голые стены! Оттуда вынесли решительно все, рассчитав, что нежная и любящая мать не оставит дочь в таком положении. В самом деле, она заново обставила келью, купила дочери новое белье и платье, но заявила монахиням, что любопытство обошлось ей слишком дорого, что она не станет удовлетворять его в другой раз и что три-четыре таких посещения в год разорили бы остальных ее детей… Из тщеславия и стремления к роскоши родители приносят в жертву одних членов семьи, чтобы улучшить судьбу других. Монастырь — это темница, куда ввергают тех, кого общество выбросило за борт. Сколько матерей искупают одно тайное преступление другим, подобно тому, как это сделала и моя мать!

Господин Манури подал вторую докладную записку, которая имела несколько больший успех. Хлопоты обо мне возобновились с новым жаром. Я еще раз обратилась к своим сестрам, обещая оставить в их полном и нерушимом владении наследство родителей. Был момент, когда мое дело приняло весьма благоприятный оборот, и я уже надеялась получить свободу. Тем горше

оказалось мое разочарование. Дело разбиралось в суде и было проиграно. Это стало известно всей общине, а я еще ничего не знала. Началось какое-то оживление, суматоха, ликование, таинственное перешептывание, беспрестанные хождения монахинь к настоятельнице и друг к другу. Я трепетала, я не могла ни оставаться в своей келье, ни выйти оттуда. Ни одной подруги, к которой я могла бы броситься в объятия! О это мучительное утро, утро суда! Я хотела молиться — и не могла; становилась на колени, стараясь сосредоточиться, начинала молитву, но мысли мои невольно уносились в суд: я видела судей, слышала речи адвокатов, обращалась к ним, прерывала моего защитника, так как мне казалось, что он плохо защищает мое дело. Я не знала в лицо никого из судей, но они вставали в моем воображении; одни были приветливы, другие мрачны, третьи равнодушны. Трудно передать, в каком я была возбуждении, в каком смятении. Шум уступил место глубокой тишине. Монахини больше не разговаривали между собой. Мне показалось, что в хоре голоса их звучали более звонко, чем обычно, — во всяком случае, голоса тех, которые пели. Остальные не пели вовсе. По окончании церковной службы все разошлись

в молчании. Я убеждала себя, что они так же взволнованы ожиданием, как и я, но в полдень шум и движение внезапно возобновились во всех углах. Двери начали открываться и закрываться, монахини ходили взад и вперед, вполголоса переговариваясь между собой. Я припала ухом к замочной скважине, и мне показалось, что, проходя мимо моей двери, все умолкали и шли на цыпочках. Я почувствовала, что проиграла дело, я больше не сомневалась в этом. Я стала метаться по келье. Я задыхалась, но не могла ни стонать, ни плакать; хватаясь за голову, я прижималась лбом то к одной стене, то к другой. Хотела было прилечь на постель, но мне помешало биение собственного сердца; да, я слышала, как стучало мое сердце, приподымая на груди платье. Таково было мое состояние, когда меня вызвали в приемную. Я спустилась по лестнице, но не решалась сделать ни шагу дальше. Монахиня, приходившая за мной, была так весела, что новость, приготовленная мне, не могла не быть печальной, — я сразу поняла это. И все же я пошла. У двери в приемную я вдруг остановилась и забилась в угол, я не могла совладать с собой. Наконец я вошла. В комнате никого не было. Я ждала. Лицу, вызвавшему меня, не разрешили

войти в приемную до моего прихода: было ясно, что это посланный от моего адвоката, и, желая узнать, о чем мы будем говорить, монахини собрались, чтобы нас подслушать. Когда он вошел, я сидела, опустив голову на руку и облокотившись на решетку.

— Я от господина Манури, — сказал он.

— Чтобы сообщить мне, что дело проиграно? — спросила я.

— Сударыня, я ничего не знаю, но он передал мне это письмо, и когда он давал мне его, у него был очень удрученный вид. Я явился сюда немедленно, как он приказал.

— Дайте…

Он протянул мне письмо, и я взяла его, не меняя положения и не глядя на собеседника. Положив письмо на колени, я продолжала сидеть в той же позе.

— Ответа не будет? — спросил посланный.

— Нет, — ответила я. — Можете идти.

Он ушел, а я все еще сидела на прежнем месте, не в силах пошевелиться и не решаясь выйти из приемной.

В монастырях не дозволяется ни писать письма, ни получать их без разрешения настоятельницы. Ей показывают и те, которые получают, и те,

которые пишут: следовательно, я должна была отнести ей это письмо. Я направилась к ее келье; путь туда показался мне бесконечным. Узник, выходя из своей камеры, чтобы выслушать смертный приговор, не мог бы идти медленнее, не мог быть более удручен, чем я в эту минуту. Наконец я все-таки оказалась у ее дверей. Монахини издали следили за мной; они ничего не хотели упустить из зрелища моего горя и моего унижения. Я постучала, мне отворили. У настоятельницы было несколько монахинь. Я видела только подол их одежд, так как не могла решиться поднять глаза. Дрожащей рукой я протянула ей письмо; она взяла его, прочитала и отдала мне. Я вернулась в келью, бросилась на постель, положила письмо рядом с собой и, не читая его, лежала так, не спускаясь к обеду, не делая ни одного движения, до самой послеобеденной службы. В половине четвертого удар колокола заставил меня сойти вниз. В церкви собралось уже несколько монахинь. Настоятельница стояла у входа на хоры. Она остановила меня и приказала мне стать на колени за дверью. Остальные монахини вошли туда, и дверь закрылась. После службы все монахини вышли. Я пропустила их, потом встала и пошла за последней.

С этой минуты я решила подчиняться всему, чего бы от меня ни потребовали. Они запретили мне посещать церковь, и я сама запретила себе появляться в трапезной и в рекреационной зале. Я всесторонне обдумала свое положение и увидела, что теперь единственный источник спасения — в моей полнейшей покорности и в той выгоде, какую монастырь мог извлечь из моих талантов. В течение нескольких дней обо мне как будто совсем забыли, и я была бы довольна, если бы так продолжалось и дальше. Ко мне приходили посетители, но единственным, кого мне разрешили принять, был г-н Манури. Войдя в приемную, я застала его в той же самой позе, в какой сама приняла его посланного: он сидел, уронив голову на руки и облокотившись на решетку. Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался ни взглянуть на меня, ни заговорить. — Сударыня, — сказал он наконец, не меняя положения, — я писал вам; прочли вы мое письмо?

— Я получила его, но не прочла.

— Значит, вы не знаете…

— Нет, сударь, я знаю все, я догадалась о своей участи и покорилась ей.

— Как обращаются с вами после этого?

— Пока обо мне не думают, но прошлое говорит

о том, какое будущее меня ждет. У меня одно утешение — лишившись надежды, которая поддерживала меня раньше, я не смогу выносить такие страдания, какие выносила до сих пор: я умру. Мой проступок не из тех, какие прощают в монастырях. Я не прошу у бога, чтобы он смягчил сердца женщин, во власть которых ему угодно было меня отдать; я прошу его только даровать мне силы переносить страдания, спасти меня от отчаяния и поскорее призвать к себе.

— Сударыня, — сказал г-н Манури со слезами на глазах, — будь вы моей сестрой, я и тогда не смог бы сделать больше…

У этого человека доброе сердце.

— Сударыня, — продолжал он, — если я смогу быть чем-нибудь вам полезен, располагайте мною. Я пойду к председателю суда, он считается со мной. Я пойду к старшим викариям и к архиепископу.

— Сударь, не ходите никуда, все кончено.

— А если бы можно было перевести вас в другой монастырь?

— К этому имеется слишком много препятствий.

— Какие же это препятствия?

— Трудно получить разрешение, затем надо сде-

лать новый вклад или получить обратно старый из этого монастыря. Да и что ждет меня в другой обители? Мое собственное окаменевшее сердце, безжалостные настоятельницы, монахини, которые не лучше здешних, те же обязанности, те же мучения. Лучше уж кончить мою жизнь здесь: она будет короче.

— Но ваша судьба, сударыня, вызвала сочувствие многих почтенных людей, и большинство из них богаты. Если вы уйдете, оставив вклад, вас не будут удерживать силой.

— Возможно.

— Монахиня, которая выходит из монастыря или же умирает, увеличивает благосостояние тех, которые остаются.

— Право же, эти почтенные богатые люди уже забыли обо мне, и они очень холодно встретят вас, когда окажется, что надо внести вклад за их счет. Почему вы думаете, что эти миряне охотнее освободят из монастыря монахиню, не имеющую призвания, чем ревнители благочестия окажут помощь девушке, которая идет в монастырь по призванию? А легко ли вносят вклады даже и за таких? Ах, сударь, все оставили меня с тех пор, как процесс проигран, я никого больше не вижу.

— Сударыня, поручите мне это дело; в нем я

буду счастливее.

— Я ни о чем не прошу, ни на что не надеюсь, ничему не противлюсь. Единственная остававшаяся мне надежда разбита. Если бы я хоть могла рассчитывать, что бог изменит меня и что склонность к монашеству займет в моей душе место утраченной надежды его оставить… Но нет, это невозможно: монашеская одежда приросла к моей коже, к моим костям и теперь давит меня еще больше. О, какая судьба! Быть навеки прикованной к монастырю и чувствовать, что всегда будешь дурной монахиней! Всю жизнь биться головой о решетку своей тюрьмы!

В этот момент я зарыдала. Хотела подавить рыдания, но не могла.

Господин Манури был удивлен.

— Сударыня, могу ли я задать вам один вопрос? — спросил он.

— Прошу вас, сударь.

— Нет ли какой-нибудь тайной причины для такого сильного горя?

— Нет, сударь. Я ненавижу затворничество, я ненавижу его и чувствую, что буду ненавидеть всегда. Я не смогу стать рабой всего того вздора, который заполняет день монастырской отшельницы: он соткан из пустых ребяческих выходок,

которые я презираю. Я бы примирилась с ними, если бы только могла. Сотни раз я пыталась переломить себя, но это оказывалось свыше моих сил. Я завидовала счастливому недомыслию моих товарок, я просила о нем у бога, но тщетно: бог не хочет даровать мне его. Я все делаю плохо, говорю не то, что нужно; отсутствие призвания чувствуется во всех моих поступках. Это видит каждый. Я то и дело оскорбляю устои монашеской жизни, мою непригодность к ней называют гордыней, меня стараются унизить, число провинностей и наказаний вырастает до бесконечности, и целый день я мысленно измеряю высоту стен.

— Сударыня, не в моих силах разрушить эти стены, но я могу сделать другое.

— Сударь, не пытайтесь что-либо сделать.

— Вы должны переменить монастырь, и я позабочусь об этом. Надеюсь, что меня не лишат возможности видеться с вами; я еще зайду к вам, я буду извещать вас о каждом своем шаге. Уверяю вас — если только вы согласитесь, мне удастся вырвать вас отсюда. Дайте знать, если с вами будут обращаться слишком сурово.

Когда г-н Манури ушел, было уже поздно. Я вернулась к себе. Вскоре зазвонили к вечерне. Я пришла в церковь одна из первых и остановилась

у дверей, не дожидаясь, чтобы мне сказали об этом. В самом деле, настоятельница пропустила всех и заперла дверь передо мною. Вечером, во время ужина, она знаком приказала мне сесть на пол посреди трапезной. Я повиновалась, и мне дали только воды и хлеба. Я поела немного, смочив хлеб слезами. На следующий день был созван совет. Всю общину пригласили на суд, и приговор был таков: лишить меня часов отдыха, обязать в течение месяца слушать богослужение за дверью, ведущей на клирос, есть — сидя на полу посреди трапезной, три дня подряд совершать публичное покаяние, повторить обряд принятия послушничества и вторично произнести монашеский обет, носить власяницу, поститься через день и подвергать себя бичеванию после вечерни. Во время произнесения этого приговора я стояла на коленях с опущенным на лицо покрывалом.

На следующее утро настоятельница вошла ко мне в келью с монахиней, несшей власяницу и то самое платье из грубой материи, которое надели на меня перед тем, как отвести в карцер. Я поняла, что это означает: я разделась, вернее, с меня сорвали покрывало, стащили одежду и надели это платье. Голова моя была непокрыта, ноги босы, длинные волосы падали на плечи;

вся моя одежда состояла из власяницы, грубой рубахи и длинного платья, закрывавшего меня всю — от подбородка до пят. В таком одеянии я оставалась целый день и появлялась на всех церковных службах.

Вечером, находясь в своей келье, я услыхала, что к двери подходят монахини с пением литаний: шла вся община, выстроившись в два ряда. Они вошли, я встала, мне накинули на шею веревку, вложили в одну руку зажженную свечу, а в другую плеть. Одна из монахинь взяла конец веревки, втащила меня в середину между двумя рядами монахинь, и процессия двинулась к маленькой внутренней молельне, посвященной святой Марии. Направляясь ко мне, монахини тихо пели, теперь же они двигались молча. Когда мы вошли в молельню, освещенную двумя лампадами, мне приказали просить прощения у бога и у всей общины за произведенный скандал. Монахиня, которая привела меня на веревке, шепотом говорила мне требуемые слова, а я точно повторяла их за ней. После этого с меня сняли веревку и раздели до пояса. Мои длинные волосы, разбросанные по плечам, скрутили и откинули на одну сторону, переложили плеть, которую я несла, из левой руки в правую и начали петь

«Miserere». Я поняла, чего от меня ждали, и исполнила это. После *«Miserere»* настоятельница прочитала мне краткое наставление, лампады погасили, монахини удалились, и я оделась.

Придя в свою келью, я почувствовала острую боль в ступнях. Я осмотрела их: они были до крови изрезаны осколками стекла, которые эти злобные женщины нарочно разбросали на моем пути.

Таким же образом я публично каялась еще два дня, только в последний день к *«Miserere»* добавили псалом.

На четвертый день мне вернули монашескую одежду, причем это было сделано почти с такой же торжественностью, с какой этот обряд совершается публично.

На пятый день я повторила свои обеты. В течение месяца я исполняла всю остальную наложенную на меня епитимью, после чего мое положение снова стало почти таким же, как положение остальных членов общины: я заняла свое место в хоре и в трапезной и наравне с другими исполняла различные монастырские обязанности. Каково же было мое изумление, когда я увидела вблизи юную монахиню, которая принимала такое участие в моей судьбе! Мне показалось, что она почти так же изменилась, как

я: она была ужасающе худа, бледна как смерть, губы у нее побелели, а взгляд потух.

— Что с вами, сестра Урсула? — шепотом спросила я.

— Что со мной?! — воскликнула она. — Я так люблю вас, а вы спрашиваете, что со мной! Пора было кончиться вашим пыткам. Еще немного, и я бы умерла, глядя на них.

Если в два последних дня моего публичного покаяния я не поранила себе ноги, это случилось только потому, что она позаботилась потихоньку подмести коридоры и отбросить в сторону куски стекла. В те дни, когда я сидела на хлебе и воде, она лишала себя половины своей порции и, завернув в салфетку, бросала пищу мне в келью. Когда кинули жребий, кому из монахинь вести меня на веревке, жребий пал на нее, и у нее хватило мужества пойти к настоятельнице и заявить, что она скорее умрет, чем выполнит такую постыдную и жестокую обязанность. К счастью, эта девушка была из весьма состоятельной семьи и получала щедрое пособие, которое расходовала по усмотрению настоятельницы. За несколько фунтов сахара и кофе она нашла монахиню, которая ее заменила. Не смею думать, что недостойную покарала десница божия, но

она сошла с ума и сидит теперь под замком. Что касается настоятельницы, то она здравствует, управляет, мучает и чувствует себя превосходно.

Мое здоровье не могло устоять против столь длительных и столь тяжких испытаний: я заболела. И тогда со всей силой проявились дружеские чувства, которые питала ко мне сестра Урсула. Я обязана ей жизнью. Правда, жизнь, которую она старалась мне сохранить, не являлась для меня благом, она сама не раз говорила об этом; тем не менее не было такой услуги, которой она бы мне не оказала в те дни, когда ее назначали в лазарет. Да и в остальное время я не была заброшена, благодаря ее участию ко мне и небольшим подаркам, которыми она оделяла ухаживавших за мной монахинь, в зависимости от того, насколько я была ими довольна. Она просила разрешения ходить за мной и ночью, но настоятельница ей в этом отказала под предлогом, что она слишком слабого здоровья и что ей это будет не по силам. Это было для нее настоящим горем. Несмотря на все ее заботы, мне становилось все хуже и хуже. Я была при смерти, меня соборовали и причастили. За несколько минут до совершения этих таинств я попросила созвать ко мне всю общину, что и было исполнено. Монахини окружили мою кро-

вать, среди них была и настоятельница. Моя юная подруга заняла место у изголовья и держала мою руку, обливая ее слезами. Полагая, что я хочу что-то сказать, меня приподняли и поддерживали в сидячем положении на двух подушках. Тогда, обратившись к настоятельнице, я попросила ее благословить меня, а также предать забвению совершенные мною проступки. Я попросила прощения у всех моих товарок за позор, который я на них навлекла. По моему желанию мне принесли множество мелочей, которые украшали мою келью или были в моем личном употреблении. Я попросила у настоятельницы разрешения распорядиться ими. Она согласилась. Я раздала их сестрам, которые служили ей пособницами в тот день, когда меня бросили в темницу. Я подозвала к себе монахиню, которая вела меня на веревке в день моего покаяния, и сказала, целуя ее и передавая ей мои четки и мое распятие:

— Милая сестра, поминайте меня в ваших молитвах и не сомневайтесь в том, что я не забуду вас, когда предстану перед богом…

И почему бог не призвал меня тогда к себе? Я шла к нему без всякой тревоги. Это такое великое счастье! И кому оно может выпасть на долю дважды? Кто знает, какой я буду в последнюю ми-

нуту, — а ведь она неизбежна. Пусть бог пошлет мне во второй раз те же страдания и дарует столь же спокойный конец. Я видела, как передо мной разверзлись райские врата, и верю, что так оно и было, ибо совесть не обманывает в предсмертный час, а она обещала мне вечное блаженство.

После соборования я впала в какое-то летаргическое состояние. В течение всей ночи мое положение считали безнадежным. Время от времени ко мне подходили пощупать пульс. Я чувствовала, как проводили руками по моему лицу, и слышала голоса, звучавшие будто издали: «Конечности у нее уже совсем застыли… Нос похолодел… Она не дотянет до утра… Четки и распятие останутся вам…» И другой, разгневанный голос: «Уходите же, уходите, дайте ей умереть спокойно, достаточно вы ее мучили!..»

Сладостной была для меня минута, когда кризис миновал и я, открыв глаза, оказалась в объятиях моей подруги. Она не отходила от меня; провела всю ночь, ухаживая за мной, читая надо мной молитвы, давала мне целовать распятие и, отнимая его от моего рта, подносила к своим губам.

Увидев, что я широко раскрыла глаза, и услышав мой глубокий вздох, она подумала, что этот вздох — последний. Она начала кричать, назы-

вать меня ласкательными именами и молиться: «Боже, смилуйся над ней и надо мной! Боже, прими ее душу! Дорогой друг, когда вы предстанете перед господом, вспомните сестру Урсулу…» Я смотрела на нее с грустной улыбкой, роняя слезы и пожимая ей руку.

В это время прибыл г-н Бувар, монастырский врач. По отзывам, он прекрасно знал свое дело, но был деспотичен, надменен и резок в обращении.

Он грубо отстранил мою подругу, пощупал мне пульс и кожу. Его сопровождала настоятельница со своими фаворитками. Он задал несколько односложных вопросов о том, что со мной произошло, и сказал:

— Она поправится.

И, глядя на настоятельницу, которой, очевидно, его слова пришлись не по вкусу, повторил:

— Да, сударыня, она поправится; кожа в хорошем состоянии, жар уменьшился, и жизнь начинает светиться в ее глазах.

При каждом его слове радость озаряла лицо моей подруги, а на лицах настоятельницы и ее приспешниц отражалась досада, скрыть которую, несмотря на все старания, им не удавалось.

— Сударь, у меня вовсе нет желания жить.

— Тем хуже, — ответил он; потом что-то пропи-

сал и вышел.

Мне передавали, что во время летаргии я несколько раз говорила: «Дорогая матушка, я скоро буду с вами! Я вам все расскажу». Очевидно, я обращалась к своей бывшей настоятельнице — я в этом не сомневаюсь. Я никому не оставила ее портрета; я хотела унести его с собой в могилу.

Прогноз г-на Бувара подтвердился: жар спал, обильный пот окончательно избавил меня от лихорадки. Не было больше сомнений, что я выздоровею. В самом деле, я поправилась, но выздоровление мое очень затянулось. Мне было суждено перенести в этом монастыре все горести, какие только можно испытать. Моя болезнь оказалась коварной. Сестра Урсула почти не покидала меня. Когда я начала набираться сил, она стала терять свои; пищеварение у нее расстроилось; после полудня она впадала в беспамятство, длившееся иногда по четверти часа. Тогда она была как мертвая, взор ее угасал, холодный пот выступал на лбу, собирался каплями и стекал по щекам; руки свисали как плети. Только расшнуровав ее и расстегнув одежду, можно было несколько облегчить ее состояние. Когда она приходила в чувство, первой ее мыслью было отыскать меня, и я всегда оказывалась рядом с

нею. Иногда же, сохраняя еще некоторые проблески сознания и чувства, она водила вокруг себя рукой, не раскрывая глаз. Это движение было достаточно красноречиво, и монахини, когда их касалась эта нащупывающая рука, которая безжизненно падала, не найдя того, кого искала, говорили мне:

— Сестра Сюзанна, она ищет вас; подойдите же к ней…

Я бросалась к ее ногам, клала ее руку к себе на лоб, и рука ее оставалась там до конца обморока. Когда она приходила в себя, то обращалась ко мне:

— Да, сестра Сюзанна, это мне суждено умереть, а вам — жить; я первая увижусь с нею, я буду ей говорить о вас, и она будет внимать мне со слезами. Если есть горькие слезы, то есть и сладостные, и если там, на небесах, любят, значит, там и плачут.

И, склонив голову ко мне на плечо, она заливалась слезами.

— Прощайте, сестра Сюзанна, — добавляла она, — прощайте, мой друг. Кто разделит с вами ваши горести, когда меня больше не будет? Кто, кто?.. Ах, дорогая подруга, как мне жаль вас! Я умираю, я чувствую, что умираю. Если б вы были

счастливы, как мне горько было бы расставаться с жизнью!

Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с настоятельницей. Я хотела, чтобы Урсулу поместили в лазарет, чтобы ее освободили от церковных служб и от других тяжелых монастырских обязанностей, чтобы к ней пригласили врача, но мне постоянно отвечали, что это пустяки, что обмороки пройдут сами собой. А дорогая сестра Урсула ничего другого и не желала, как выполнять свой долг и во всем следовать установленному порядку. Однажды побывав у заутрени, она больше не появлялась. Я решила, что ей очень плохо. Как только окончилась ранняя обедня, я побежала к ней. Она лежала совершенно одетая на кровати и сказала мне:

— Вот и вы, дорогой друг. Я была уверена, что вы поспешите ко мне, и ждала вас. Выслушайте меня. С каким нетерпением я ожидала вашего прихода! Мой обморок был таким глубоким и продолжительным, что я уже не надеялась прийти в себя и еще раз увидеть вас. Возьмите — вот ключ от моего иконостаса. Отоприте там шкафчик, снимите дощечку, которая делит надвое нижний ящик; за дощечкой вы найдете пакет с бумагами. Я никак не могла расстаться с ними,

как ни опасно было хранить их и как ни мучительно было их перечитывать. Увы, буквы почти стерлись от моих слез! Когда меня не станет, вы эти бумаги сожжете…

Она была так слаба и в таком тяжелом состоянии, что не могла связно произнести и двух слов. На каждом слоге она останавливалась и говорила так тихо, что я с трудом слышала ее, хотя почти прильнула ухом к ее губам. Я взяла ключ, пальцем указала на иконостас; она утвердительно кивнула головой. Предчувствуя, что теряю ее, и не сомневаясь в том, что причиной ее тяжелого недуга была моя болезнь, пережитые ею огорчения и заботы, которыми она окружала меня, я в беспредельной скорби зарыдала. Я целовала ей лоб, глаза, лицо, руки, я просила у нее прощения, но мысли ее витали где-то далеко, и она не слышала моих слов. Одну руку она положила мне на лицо и гладила его. Мне казалось, что она меня не видит. Быть может, она даже думала, что я вышла, потому что вдруг она меня позвала:

— Сестра Сюзанна!

— Я здесь, — ответила я.

— Который час?

— Половина двенадцатого.

— Половина двенадцатого! Идите обедать. Иди-

те и сразу же возвращайтесь.

Колокол ударил, нужно было покинуть ее. Когда я подошла к дверям, она снова меня окликнула, и я вернулась. С большим усилием она подставила мне щеки. Я поцеловала ее. Она взяла мою руку и крепко сжала в своей. Казалось, что она не хочет, не может расстаться со мной.

— Что делать, так, видно, нужно, — сказала она, выпуская мою руку, — так угодно богу. Прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне мое распятие.

Я вложила ей в руки распятие и ушла.

Все уже собирались встать из-за стола. Я обратилась к настоятельнице и в присутствии всех монахинь рассказала ей об опасном положении сестры Урсулы; я усиленно просила ее убедиться в этом лично.

— Ну, хорошо, — промолвила она, — придется ее навестить.

Она поднялась к Урсуле в сопровождении нескольких монахинь. Я следовала за ними. Они вошли в ее келью. Бедняжки уже не было в живых. Она лежала, вытянувшись на кровати, совсем одетая, склонившись головой на подушку. Рот был полуоткрыт, глаза закрыты; в руках она держала распятие. Настоятельница холодно на нее взглянула и сказала:

— Она умерла. Кто бы мог думать, что конец ее так близок! Это была превосходная девушка. Скажите, чтобы звонили в колокола, и наденьте на нее саван.

Я осталась одна у ее изголовья. Мне трудно описать вам мое горе, и все же я завидовала ее участи. Я подошла к ней, горько плакала, целовала множество раз, накрыла простыней ее лицо, черты которого уже начали изменяться. Потом я решила исполнить ее просьбу. Чтобы без помехи этим заняться, я подождала, пока все пошли в церковь. Тогда я открыла иконостас, сняла дощечку и нашла довольно большой сверток с бумагами, который и сожгла в тот же вечер. Эта девушка всегда была печальной; не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась, за исключением одного раза во время своей болезни.

И вот я одна в монастыре, одна на всем свете, так как я не знаю ни единого живого существа, которое интересовалось бы мною. Об адвокате Манури я больше ничего не слышала. Я предполагала, что он натолкнулся на большие трудности или среди развлечений и дел совершенно забыл об услуге, которую обещал мне оказать. Я не очень досадовала на него. По своему характеру я склонна к снисходительности и могу

все простить людям, кроме несправедливости, неблагодарности и бесчеловечности. Поэтому я оправдывала, как могла, адвоката Манури и всех мирян, которые проявили столько горячности в течение моего процесса и для которых потом я перестала существовать, — не сердилась и на вас, господин маркиз.

Неожиданно в монастырь прибыли наши церковные власти. Они приезжают, обходят все кельи, расспрашивают монахинь, требуют отчета как о духовном руководстве, так и о хозяйственном управлении монастырем и, в зависимости от отношения к своим обязанностям, либо устраняют неурядицы, либо увеличивают их.

Итак, я снова увидела почтенного и сурового г-на Эбера, а также его двух молодых сострадательных помощников. Должно быть, они вспомнили, в каком плачевном состоянии предстала я перед ними в первый раз. Их глаза увлажнились, и я заметила на их лицах умиление и радость. Г-н Эбер сел и велел мне сесть напротив него. Молодые священники поместились за его стулом; их взгляды были устремлены на меня.

— Ну, сестра Сюзанна, — спросил г-н Эбер, — как теперь обращаются с вами?

— Обо мне забыли, сударь, — ответила я.

— Тем лучше.

— Я и не желаю ничего другого, но должна просить вас об очень большой милости: позовите сюда мать-настоятельницу.

— Зачем?

— Если к вам поступят на нее какие-нибудь жалобы, она не преминет обвинить в этом меня.

— Понимаю, но все же скажите, что вы о ней знаете.

— Умоляю вас, сударь, пошлите за ней; пусть она сама слышит ваши вопросы и мои ответы.

— Нет, скажите.

— Сударь, вы меня погубите.

— Не бойтесь. С нынешнего дня вы больше не под ее властью. Еще на этой неделе вы будете переведены в монастырь Святой Евтропии, близ Арпажона. У вас есть добрый друг.

— Добрый друг? Я такого не знаю.

— Это ваш адвокат.

— Господин Манури?

— Он самый.

— Я не думала, что он еще помнит обо мне.

— Он виделся с вашими сестрами, был у архиепископа, у старшего председателя суда, у ряда лиц, известных своим благочестием. Он внес за вас вклад в монастырь, который я вам

сейчас назвал, и вам остается провести здесь всего несколько дней. Итак, если вам известны здесь какие-нибудь непорядки, вы можете, не навлекая на себя неприятностей, довести их до моего сведения. Вас к этому обязывает святой обет послушания.

— Я ничего не знаю.

— Как! Разве они не прибегали к особо крутым мерам по отношению к вам после того, как вы проиграли процесс?

— Они считали и должны были считать мой отказ от обета тяжким грехом и потребовали, чтобы я испросила прощения у господа.

— Но в каких условиях было испрошено прощение, вот что мне хотелось бы знать.

И, произнося эти слова, он покачивал головой и хмурил брови. Я поняла, что только от меня зависит отплатить настоятельнице, хотя бы частично, за все удары плетью, которые я нанесла себе по ее приказанию. Но это не входило в мои намерения. Старший викарий, убедившись, что он ничего от меня не узнает, удалился, предложив мне держать в тайне то, что сказал о моем переводе в арпажонский монастырь Св. Евтропии.

Когда почтенный викарий вышел в коридор, оба его спутника обернулись и поклонились мне

очень приветливо и ласково. Я не знаю, кто они, но да сохранит им господь их мягкосердечие и сострадательность, столь редкие у людей их звания и столь необходимые тем, кому вверяются слабости человеческой души и кто ходатайствует о милосердии божием.

Я полагала, что г-н Эбер занят тем, что утешает, расспрашивает или наставляет какую-нибудь другую монахиню, но он снова пришел в мою келью.

— Откуда вы знаете господина Манури? — спросил он меня.

— По моему процессу.

— Кто вам его рекомендовал?

— Супруга председателя суда.

— Вам, должно быть, часто приходилось совещаться с ним во время вашего дела?

— Нет, сударь, я с ним редко виделась.

— Как же вы сообщали ему нужные сведения?

— Несколькими записками, составленными мною собственноручно.

— У вас есть копии этих записок?

— Нет, сударь.

— Кто передавал ему эти записки?

— Супруга председателя суда.

— Каким образом вы познакомились с нею?

— Меня с нею познакомила сестра Урсула, моя подруга и ее родственница.

— Виделись ли вы с господином Манури после того, как проиграли процесс?

— Один раз.

— Не много. Он вам не писал?

— Нет, сударь.

— И вы не писали ему?

— Нет, сударь.

— Он, несомненно, известит вас о том, что он для вас сделал. Я требую, чтобы вы не выходили к нему в приемную и, если он напишет вам прямо или через посредство каких-либо лиц, отослали мне это письмо, не вскрывая его, — слышите ли, не вскрывая.

— Хорошо, сударь, я исполню все в точности…

Не знаю, к кому относилась подозрительность г-на Эбера — ко мне или к моему благодетелю, но я почувствовала себя оскорбленной.

Господин Манури приехал в Лоншан в тот же вечер. Я сдержала слово, данное старшему викарию, и отказалась говорить с моим адвокатом. На следующий день он секретно переслал мне письмо, я получила его и, не вскрывая, отправила г-ну Эберу. Это случилось, насколько я помню, во вторник. Я все время с нетерпением ждала, к чему

приведут обещания старшего викария и хлопоты г-на Манури. Среда, четверг, пятница прошли без всяких новостей. Как тянулись для меня эти дни! Я вся дрожала при мысли, что встретилось какое-нибудь препятствие и все расстроилось. Я не получала свободы, но я меняла тюрьму, а это было уже немало. Одно счастливое обстоятельство порождает в нас надежду на второе, откуда, быть может, и возникла пословица: «Удача родит удачу».

Мне хорошо были знакомы товарки, которых я покидала, и нетрудно было предположить, что я кое-что выиграю, живя с другими узницами. Каковы бы они ни были, они не могли оказаться более злыми и более враждебно настроенными по отношению ко мне. В субботу утром, около девяти часов, в монастыре поднялась суматоха. Нужен сущий пустяк, чтобы взбудоражить монахинь. Они ходили взад и вперед, о чем-то шептались. Двери келий открывались и закрывались. В монастыре все это является, как вы могли уже сами убедиться, верным признаком чрезвычайных событий. Я была одна в своей келье. Сердце у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, смотрела в окно, металась, не зная, за что взяться. Я говорила себе, трепеща от радости: «Это

приехали за мной, сейчас я вырвусь отсюда…» И я не ошиблась.

Ко мне явились две незнакомые женщины — монахиня и сестра-привратница арпажонского монастыря. Они в нескольких словах ознакомили меня с целью своего приезда. В сильном волнении я собрала свои пожитки и бросила их как попало в передник привратницы, которая связала их в свертки. Я не выразила желания проститься с настоятельницей. Сестры Урсулы уже не было в живых, и я никого здесь не покидала. Спускаюсь, мне открывают двери, осмотрев предварительно то, что я увожу с собой; сажусь в карету и пускаюсь в путь.

Старший викарий со своими молодыми помощниками, супруга председателя суда и г-н Манури собрались у настоятельницы арпажонского монастыря; они были предупреждены о моем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня расхваливала мне свой монастырь, а привратница добавляла, как припев, к каждой фразе: «Истинная правда…» Она была счастлива, что, когда посылали за мной, выбор пал на нее, и предлагала мне свою дружбу. Вот почему она доверила мне кое-какие секреты и дала несколько советов относительно того, как я должна себя вести. Эти советы были, очевидно,

пригодны для нее, но никак не для меня.

Не знаю, видели ли вы арпажонский монастырь. Это четырехугольное здание, выходящее фасадом на большую дорогу, а задней стороной — на поля и сады. В каждом окне фасада виднелись одна, две или три монахини. Это обстоятельство больше говорило о порядках, царящих в монастыре, чем все рассказы монахини и сестры-привратницы. По всей вероятности, они узнали нашу карету, потому что в мгновение ока все эти окутанные покрывалами головки скрылись. Я подъехала к воротам моей новой тюрьмы. Настоятельница вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями, обняла меня, поцеловала, взяла за руку и повела в монастырскую залу, куда несколько монахинь успели уже прийти, а другие прибежали потом.

Эту настоятельницу зовут г-жа***. Не могу противостоять желанию описать ее вам, прежде чем продолжить рассказ. Это маленькая женщина, очень полная, но живая и проворная; она постоянно вертит головой, в одежде у нее вечно какой-нибудь беспорядок; лицо скорее привлекательное, чем некрасивое: глаза, из которых один, правый, выше и больше другого, полны огня и бегают по сторонам. Когда она ходит, то

размахивает руками; когда собирается что-нибудь сказать, то открывает рот, не успев еще собраться с мыслями; поэтому она немного заикается. Когда сидит, то ерзает на своем кресле, будто что-то ей мешает. Она забывает все правила приличия: приподнимает свой нагрудник и начинает чесаться, сидит, закинув ногу на ногу. Когда она спрашивает вас и вы ей отвечаете, она вас не слушает. Говоря с вами, она теряет нить своих мыслей, замолкает, не знает, на чем остановилась, сердится, обзывает вас дурой, тупицей, разиней, если вы не поможете ей найти эту нить. Порой она так фамильярна, что обращается на *ты*, порой надменна и горда, чуть ли не обдает вас презрением; но важность напускает на себя ненадолго. Она то чувствительна, то жестока. Ее искаженное лицо свидетельствует о сумбурности ее ума и неуравновешенности характера. Порядок и беспорядок постоянно чередуются в монастыре: бывают дни полной неразберихи, когда пансионерки болтают с послушницами, послушницы с монахинями, когда бегают друг к другу в кельи, вместе пьют чай, кофе, шоколад, ликеры, когда службы справляются с непристойной поспешностью. И вдруг, посреди этой сумятицы, лицо настоятельницы меняется, зво-

нит колокол, все расходятся по своим кельям, запираются; за шумом, криками и суматохой следует самая глубокая тишина: можно подумать, что в монастыре все внезапно вымерло. И тогда за малейшее упущение настоятельница вызывает виновную к себе в келью, распекает ее, приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов плетью. Монахиня повинуется, снимает с себя одежду, берет плеть и начинает себя истязать. Но не успевает она нанести себе несколько ударов, как настоятельница, внезапно преисполнившись сострадания, вырывает из ее рук орудие пытки и заливается слезами; она сетует на то, что несчастна, когда приходится наказывать, целует монахине лоб, глаза, губы, плечи, ласкает и расхваливает ее: «Какая у нее белая и нежная кожа! Как она сложена! Какая прелестная шея, какие чудные волосы! Да что с тобой, сестра Августина, почему ты смущаешься? Спусти рубашку, я ведь женщина и твоя настоятельница. Ах, какая очаровательная грудь, какая упругая! И я потерплю, чтобы все эти прелести были истерзаны плетью? Нет, нет, ни за что!..»

Она снова целует монахиню, поднимает ее, помогает одеться, осыпает ласковыми словами, освобождает от церковной службы и отсылает в

келью. Трудно иметь дело с такими женщинами: никогда не знаешь, как им угодить, чего следует избегать и что надо делать. Ни в чем нет ни толку, ни порядка. То кормят обильно, то морят голодом. Хозяйство монастыря приходит в расстройство. Замечания принимаются враждебно либо оставляются без внимания. Настоятельницы с таким нравом или слишком приближают к себе, или чересчур отдаляют; они не держат себя на должном расстоянии, ни в чем не знают меры: от опалы переходят к милости, от милости к опале неизвестно почему. Если разрешите, я приведу один пустяк, который может служить примером ее управления монастырем. Два раза в году она бегала из кельи в келью и приказывала выбросить в окно бутылки с ликерами, которые там находила, а через три-четыре дня сама посылала ликер большинству монахинь. Вот какова была та, которой я принесла торжественный обет послушания, ибо наши обеты следуют за нами из одного монастыря в другой.

Я вошла вместе с нею; она вела меня, держа за талию. Подали угощение — фрукты, марципаны, варенье. Суровый викарий стал меня хвалить, но она прервала его:

— Они были не правы, не правы, я это знаю.

Суровый викарий собрался продолжать, но настоятельница опять прервала его:

— Почему они захотели от нее избавиться? Ведь она — воплощение кротости, сама скромность и, говорят, очень талантлива…

Суровый г-н Эбер хотел было договорить то, что начал, но настоятельница снова его перебила и шепнула мне на ухо:

— Я люблю вас до безумия. Когда эти педанты уйдут, я позову сестер, и вы нам споете какую-нибудь песенку. Хорошо?

Меня разбирал смех. Суровый г-н Эбер несколько растерялся. Оба молодых священника, заметив мое и его замешательство, улыбнулись. Однако г-н Эбер тут же оправился и вернулся к своей обычной манере обращения: он резко приказал настоятельнице сесть и замолчать. Она села, но ей было не по себе. Она вертелась на стуле, почесывала голову, поправляла на себе одежду, хотя в этом не было надобности, зевала, а старший викарий держал речь в назидательном тоне о монастыре, который я покинула, о пережитых мною невзгодах, о монастыре, куда я вступила, о том, сколь многим я обязана людям, которые приняли во мне участие. При этих словах я взглянула на г-на Манури; он опустил глаза. Беседа приня-

ла более общий характер. Тягостное молчание, предписанное настоятельнице, прекратилось. Я подошла к г-ну Манури и поблагодарила его за оказанные услуги. Я дрожала, запиналась, не знала, как выразить ему мою признательность. Мое смущение, растерянность, мое умиление — ибо я в самом деле была очень растрогана, — слезы и радость вперемежку, все мое поведение было более красноречиво, чем могли быть мои слова. Его ответ был не более связен, чем моя речь. Он был так же смущен, как и я. Не знаю точно, что он сказал, но я поняла, что он более чем вознагражден, если ему удалось смягчить мою участь, что он будет вспоминать о том, что сделал, с еще большим удовольствием, чем я сама, что судебные дела, которые его удерживают в Париже, не позволят ему часто посещать арпажонский монастырь, но что он надеется получить от г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разрешение справляться о моем здоровье и моем душевном состоянии.

Старший викарий не расслышал последних слов, а настоятельница ответила:

— Сколько вам будет угодно, сударь; она будет делать что захочет. Мы постараемся загладить зло, которое ей причинили.

И добавила совсем тихо, обращаясь ко мне:

— Дитя мое, ты очень страдала? Как осмелились эти твари из ланшанского монастыря обижать тебя? Я знала когда-то твою настоятельницу, мы вместе были пансионерками в Пор-Рояле.[10] Она была у нас бельмом на глазу. Мы еще успеем наговориться, ты мне обо всем расскажешь…

При этих словах она взяла мою руку и похлопала по ней своей ладонью. Молодые священники также сказали мне несколько любезных слов. Было уже поздно. Г-н Манури простился с нами. Старший викарий и его спутники направились к г-ну М***, сеньору Арпажона, куда были приглашены, и я осталась одна с настоятельницей, но ненадолго. Все монахини, все послушницы и пансионерки прибежали толпой. В мгновение ока я была окружена сотней незнакомок. Я не знала, кого слушать, кому отвечать. Каких только тут не было лиц, о чем только тут не болтали! Однако я заметила, что мои ответы и я сама не произвели дурного впечатления.

Когда эти надоедливые расспросы наконец кончились и первое любопытство было удовле-

---

[10] Примечания: 10

Пор-Рояль — женский монастырь, основанный в 1204 г. В 1625 г. от него отделилось мужское аббатство, обосновавшееся в Париже. Во второй половине XVII в. Пор-Рояль становится оплотом янсенизма и одним из важнейших центров французской культуры.

творено, толпа стала редеть. Настоятельница выпроводила всех еще остававшихся у нее и пошла сама устраивать меня в моей келье. Она на свой лад проявила ко мне радушие. Указывая на иконостас, она сказала:

— Тут мой дружок будет молиться богу. Я прикажу положить подушку на скамеечку, чтобы она не поцарапала себе коленки. В кропильнице нет ни капли святой воды, сестра Доротея вечно что-нибудь забудет. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам…

Болтая таким образом, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Затем подошла к окну удостовериться, легко ли подымаются и опускаются рамы, к кровати — задернула и отдернула полог, чтобы испытать, плотно ли он сходится. Внимательно осмотрела одеяло:

— Одеяло неплохое.

Взяла подушку и, взбивая ее, сказала:

— Дорогой головке будет на ней очень покойно. Простыни грубоваты, но таковы все в общине, матрацы хороши…

Покончив с осмотром, она подошла ко мне, поцеловала и ушла. Во время этой сцены я подумала про себя: «Что за безумное создание!» — и

приготовилась к хорошим и дурным дням.

Я устроилась в своей келье, затем отстояла вечерню, поужинала и направилась в рекреационную залу. Некоторые из находившихся там монахинь ко мне приблизились, другие отошли в сторону. Первые рассчитывали на мое влияние у настоятельницы, вторые уже были встревожены оказанным мне предпочтением. Несколько минут прошло во взаимных похвалах, в расспросах о монастыре, который я оставила; монахини пытались распознать мой характер, вкусы, наклонности, убедиться, умна ли я. Вас прощупывают со всех сторон, расставляют ряд ловушек, с помощью которых приходят к весьма правильным выводам. Например, принимаются о ком-нибудь злословить и смотрят на вас, начинают что-нибудь рассказывать и ждут, попросите вы продолжать или не проявите любопытства; если вы скажете что-нибудь самое обыденное, вашими словами восхитятся, хотя все прекрасно понимают, что в них нет ничего особенного; вас намеренно хвалят или порицают; стараются выпытать ваши самые сокровенные мысли; интересуются вашим чтением, предлагают книги духовные или светские и отмечают ваш выбор; побуждают вас в какой-нибудь мелочи нарушить

монастырский устав; поверяют вам свои секреты; упоминают о странностях настоятельницы. Все принимается к сведению, обо всем судачат; вас оставляют в покое и снова за вас принимаются; выведывают ваше отношение к вопросам морали, к благочестию, религии, к мирской и монастырской жизни — словом, решительно ко всему. В результате таких повторных испытаний придумывается характерный для вас эпитет, который в виде прозвища добавляют к вашему имени. Так, например, меня стали называть сестра Сюзанна Скрытница.

В первый же вечер меня посетила настоятельница. Она пришла, когда я раздевалась. Она сама сняла с меня покрывало, головной убор и нагрудник, причесала на ночь, сама меня раздела. Она наговорила мне множество нежных слов, осыпала ласками, которые меня слегка смутили, не знаю почему, так как я ничего дурного в них не видела, да и она также. Даже теперь, когда я об этом думаю, я не понимаю, что тут могло быть предосудительного. Тем не менее я рассказала все моему духовнику. Он отнесся к этой фамильярности — которая казалась мне тогда, да и теперь кажется, вполне невинной — с большой серьезностью и решительно запретил

мне впредь допускать ее. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила округлость моих форм и фигуру, уложила в постель, подоткнула с двух сторон одеяло, поцеловала глаза, задернула полог и ушла. Да, забыла еще упомянуть, что настоятельница, предполагая, что я утомлена, разрешила мне оставаться в постели, сколько мне заблагорассудится.

Я воспользовалась ее разрешением. Это, думается мне, была единственная спокойная ночь, проведенная мною в монастырских стенах, а я почти их не покидала. На следующее утро, около девяти часов, кто-то тихо постучал в мою дверь; я еще лежала в постели. Я откликнулась, вошла монахиня. Довольно сердитым тоном она заметила, что уже поздно и что мать-настоятельница просит меня к себе. Я встала, поспешно оделась и побежала к ней.

— Доброе утро, дитя мое, — сказала она. — Хорошо ли вы провели ночь? Кофе вас ждет уже целый час. Думаю, что он вам придется по вкусу. Пейте его поскорей, а потом мы побеседуем.

Говоря это, она разостлала на столе салфетку, подвязала меня другой, налила кофе и положила сахар. Другие монахини тоже завтракали друг у друга. В то время как я ела, она рассказала о моих

товарках, обрисовала мне их, руководствуясь своей неприязнью или симпатией, обласкала меня, засыпала вопросами об оставленном мною монастыре, о моих родителях, о пережитых мною огорчениях. Хвалила, осуждала, болтая что взбредет в голову, ни разу не дослушав до конца моего ответа. Я ей ни в чем не перечила. Она осталась довольна моим умом, моей рассудительностью, моей сдержанностью. Между тем пришла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая. Заговорили о птицах настоятельницы. Одна рассказала о странных привычках какой-то сестры, другая подсмеивалась над разными слабостями отсутствовавших. Все пришли в веселое расположение духа. В углу кельи стояли клавикорды, и я по рассеянности стала перебирать клавиши. Только что прибыв в монастырь, я не знала сестер, над которыми трунили, и не находила в том ничего забавного. Впрочем, если бы я и знала их, это не доставило бы мне удовольствия. Нужно обладать очень тонким юмором, чтобы шутка была удачной, да и у кого же из нас нет смешных сторон? В то время как все смеялись, я взяла несколько аккордов и мало-помалу привлекла к себе внимание окружающих. Настоятельница подошла ко мне

и, похлопав по плечу, сказала:

— А ну, сестра Сюзанна, позабавь нас — сначала сыграй что-нибудь, а потом спой.

Я сделала то, что она велела, — исполнила две-три пьесы, которые знала наизусть, потом импровизировала немного, наконец, спела несколько строф из псалмов на музыку Мондонвиля.

— Все это прекрасно, — заметила настоятельница, — но святости мы имеем достаточно в церкви. Чужих здесь никого нет, это все мои добрые приятельницы, которые станут и твоими; спой нам что-нибудь повеселей.

— Но, может быть, она ничего другого не знает, — возразили некоторые монахини. — Она устала с дороги, нужно ее поберечь; хватит на этот раз.

— Нет, нет, — заявила настоятельница, — она чудесно себе аккомпанирует, а лучшего голоса, чем у нее, нет ни у кого в мире. (И в самом деле, я пою недурно, но скорее могу похвалиться хорошим слухом, мягкостью и нежностью звука, чем силой голоса и широтой диапазона.) Я не отпущу ее, пока она нам не споет что-нибудь в другом роде.

Слова монахинь меня задели, и я ответила настоятельнице, что мое пение больше не достав-

ляет удовольствия сестрам.

— Зато оно доставит удовольствие мне.



Я не сомневалась в таком ответе и спела довольно игривую песенку. Все захлопали в ладоши, стали хвалить меня, целовать, осыпать ласками, просили спеть еще — неискренние восторги, продиктованные ответом настоятельницы. Между тем среди присутствующих монахинь не было почти ни одной, которая не лишила бы меня голоса и не переломала бы мне пальцев, если б только могла. Те из них, которые, быть может, никогда в жизни не слышали музыки, позволили себе сделать по поводу моего пения какие-то нелепые и язвительные замечания, но это не произвело на настоятельницу никакого впечатления.

— Замолчите! — приказала она. — Сюзанна играет и поет как ангел. Я хочу, чтобы она приходила ко мне каждый день. Я сама когда-то *немного играла* на клавесине; она должна помочь мне припомнить то, что я знала.

— Ах, сударыня, — возразила я, — что раньше умел, того никогда полностью не забудешь…

— Ну хорошо, я попробую; пусти меня на свое место…

Она взяла несколько аккордов и сыграла какие-то пьески — шальные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли. Но, несмотря на все недостатки ее исполнения, я видела, что у нее гораздо

больше беглости в пальцах, чем у меня. Я ей об этом сказала, потому что люблю отмечать чужие достоинства и редко упускаю такой случай, если только похвала не противоречит истине. Это так приятно!

Монахини разошлись одна за другой, и я осталась почти наедине с настоятельницей. Мы заговорили о музыке. Она сидела, я же стояла рядом с ней. Она взяла мои руки и, пожимая их, сказала:

— Она не только прекрасно играет, у нее еще самые прелестные пальчики на свете. Взгляните-ка, сестра Тереза.

Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и что-то пробормотала. Однако — прелестные у меня пальцы или нет, права настоятельница или нет — почему это произвело такое впечатление на сестру Терезу? Настоятельница обняла меня за талию и, восхищаясь моей фигурой, привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову и попросила смотреть на нее. Она восторгалась моими глазами, ртом, щеками, цветом лица. Я молчала, потупив глаза, и переносила все ее ласки покорно, как истукан. Сестра Тереза была рассеянна, встревожена, она ходила взад и вперед по келье, трогала без всякой надобности

все, что ей попадалось под руку, не знала, что с собой делать, смотрела в окно, прислушивалась, не стучит ли кто-нибудь в дверь.

— Сестра Тереза, ты можешь уйти, если соскучилась с нами, — предложила ей настоятельница.

— Нет, сударыня, мне не скучно.

— У меня еще тысяча вопросов к этой малютке.

— Не сомневаюсь.

— Я хочу знать всю ее жизнь. Как я могу загладить зло, которое ей причинили, если мне ничего не известно? Я хочу, чтобы она поведала мне все свои горести, ничего не скрывая. Я уверена, что у меня сердце будет разрываться и я заплачу, но это неважно. Сестра Сюзанна, когда же я все узнаю?

— Когда вы прикажете, сударыня.

— Я бы попросила тебя немедля приступить к рассказу, если у нас есть еще время. Который час?..

— Пять часов, сударыня, — ответила сестра Тереза. — Сейчас ударят к вечерне.

— Пусть она все-таки начнет.

— Но ведь вы обещали, сударыня, уделить мне минутку и утешить меня перед вечерней. У меня возникают такие мучительные мысли. Я бы так хотела открыть свою душу вам, матушка. Без

этого я не смогу молиться в церкви, не смогу сосредоточиться.

— Нет, нет, — перебила ее настоятельница, — ты с ума сошла; брось эти глупости. Держу пари, что знаю, в чем дело. Мы поговорим об этом завтра.

— Ах, матушка, — молила сестра Тереза, упав к ногам настоятельницы и заливаясь слезами, — лучше сейчас.

— Сударыня, — сказала я настоятельнице, поднимаясь с ее колен, где все еще сидела, — согласитесь на просьбу сестры, прекратите ее страдания. Я уйду; я еще успею исполнить ваше желание и рассказать все о себе. Когда вы выслушаете сестру Терезу, она перестанет болеть душой.

Я сделала шаг к двери, чтобы выйти, но настоятельница удержала меня одной рукой. Сестра Тереза схватила другую ее руку и, стоя на коленях, покрывала поцелуями и плакала.

— Право, сестра Тереза, — промолвила настоятельница, — ты мне очень докучаешь своими тревогами. Я тебе уже об этом говорила, мне это неприятно и стеснительно. Я не хочу, чтобы меня стесняли.

— Я это знаю, но я не властна над своими чув-

ствами; я бы хотела, но не могу…

Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с молоденькой сестрой.

Я не могла удержаться, чтобы не посмотреть на нее в церкви. Она все еще оставалась угнетенной и печальной. Наши глаза несколько раз встретились. Мне показалось, что она с трудом выдерживает мой взгляд. Что же касается настоятельницы, то она задремала в своем заалтарном кресле.

Службу закончили с необычайной быстротой. Церковь, по-видимому, не являлась излюбленным местом в монастыре. Сестры выпорхнули из нее, щебеча, как стая птиц, вылетающих из своей клетки. Они побежали друг к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась у себя, а сестра Тереза остановилась на пороге своей кельи, следя за мной, словно желая узнать, куда я направлюсь. Я вошла к себе, и только несколько минут спустя сестра Тереза бесшумно закрыла дверь своей кельи. Мне пришло на ум, что эта молодая девушка ревнует ко мне, что она боится, как бы я не похитила того места, которое она занимает в душе настоятельницы, и не лишила ее благоволения нашей матушки. Я наблюдала за нею несколько дней подряд, и когда ее злобные

вспышки, ее ребяческий страх и упорная слежка за мной, ее внимание ко всем моим действиям, старания не оставлять нас вдвоем с настоятельницей, вмешиваться в наши беседы, умалять мои достоинства и подчеркивать мои недостатки, а еще более ее бледность, ее тоска, слезы, расстройство ее здоровья и, возможно, даже рассудка убедили меня в правильности моих подозрений, я пошла к ней и спросила:

— Милый друг, что с вами?

Она мне не ответила. Мое посещение застало ее врасплох, она смутилась. Она не знала, что сказать и что делать.

— Вы недостаточно справедливы ко мне. Будьте со мной откровенны. Вы боитесь, чтобы я не воспользовалась расположением ко мне нашей настоятельницы и не вытеснила вас из ее сердца. Успокойтесь, это не в моем характере. Если мне посчастливится добиться какого-нибудь влияния на нашу…

— Вы добьетесь всего, чего пожелаете. Она вас любит. Она делает для вас в точности то, что вначале делала для меня.

— Ну так не сомневайтесь, что я использую доверие, которое она мне окажет, только для того, чтобы усилить ее нежное чувство к вам.

— Разве это будет зависеть от вас?

— А почему бы и нет?

Вместо ответа она бросилась мне на шею и сказала, вздыхая:

— Это не ваша вина, я знаю, я себе это все время твержу, но обещайте мне…

— Что я должна обещать вам?

— Что… что…

— Говорите, я сделаю все, что будет от меня зависеть.

Она замялась, закрыла руками глаза и проговорила так тихо, что я с трудом расслышала:

— Что вы будете как можно реже видеться с ней…

Эта просьба показалась мне столь странной, что я не могла удержаться, чтобы не спросить:

— А какое для вас имеет значение, часто или редко вижусь я с нашей настоятельницей? Меня нисколько не огорчит, если вы будете хоть все время проводить с ней. И вас тоже не должно огорчать, если я буду часто с ней видеться. Разве вам мало моего обещания не вредить ни вам, ни кому бы то ни было другому?

Отойдя от меня и бросившись на кровать, она мне ответила только следующими словами, произнесенными тоном глубокого страдания:

— Я погибла!

— Погибли? Но почему же? Вы, как видно, считаете меня самым злым существом в мире!

В эту минуту вошла настоятельница. Она заходила в мою келью, не застала меня там и безрезультатно обошла почти весь монастырь. Ей и в голову не пришло, что я могла быть у сестры Терезы. Когда она об этом узнала от тех сестер, которых послала меня искать, то поспешила сюда. Какое-то смятение отражалось в ее глазах и лице, но она ведь так редко бывала в ладу сама с собой.

Сестра Тереза молчала, сидя на своей кровати; я стояла рядом.

— Матушка, — обратилась я к настоятельнице, — простите, что я зашла сюда без вашего разрешения.

— Конечно, — ответила она, — было бы лучше попросить у меня разрешения.

— Мне стало жаль милую сестру, я видела, что она очень сокрушается.

— Из-за чего?

— Сказать ли вам? А почему бы не сказать? Такая чувствительность делает честь ее душе и так убедительно говорит о ее привязанности к вам. Знаки вашего расположения ко мне задели в ней

самые чувствительные струны. Она боится, чтобы я не заняла первого места в вашем сердце. Это чувство ревности, столь достойное, естественное и лестное для вас, дорогая матушка, причинило, как мне кажется, страдание сестре, и я пришла ее успокоить.

Выслушав меня, настоятельница приняла строгий и внушительный вид.

— Сестра Тереза, — сказала она ей, — я вас любила и еще люблю. Я ни в чем не могу пожаловаться на вас, и вам не придется жаловаться на меня, но я не желаю выносить таких исключительных притязаний. Откажитесь от них, если не хотите утратить то, что осталось от моей привязанности к вам, и если еще помните судьбу сестры Агаты…

Тут, повернувшись ко мне, она пояснила:

— Это та высокая брюнетка, которую вы видели на клиросе напротив меня. (Я так мало общалась с другими монахинями, так недавно еще появилась в этом монастыре, была таким здесь новичком, что еще не знала имен всех моих товарок.) Я любила Агату, — продолжала настоятельница, — когда сестра Тереза вступила в наш монастырь и когда я начала ее баловать. Сестра Агата стала так же волноваться, совершала те же безумства. Я предупредила ее, но она не ис-

правилась, и тогда мне пришлось прибегнуть к суровым мерам, которые применялись слишком долго и которые совершенно не соответствуют моему характеру; все сестры вам скажут, что я добра и наказываю только скрепя сердце…

Затем, снова обратившись к сестре Терезе, она прибавила:

— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я вам об этом уже говорила. Вы меня знаете, не доводите меня до крайности…

Потом, опершись на мое плечо, сказала мне:

— Пойдемте, сестра Сюзанна, проводите меня.

Мы вышли. Сестра Тереза хотела последовать за нами, но настоятельница, небрежно обернувшись через мое плечо, тоном, не терпящим возражений, приказала:

— Вернитесь в свою келью и не выходите оттуда, пока я вам не разрешу…

Та повиновалась, хлопнула дверью, и при этом у нее вырвались какие-то слова, от которых настоятельница вздрогнула, не знаю почему, так как они были лишены всякого смысла. Я заметила ее гнев и стала просить ее:

— Матушка, если вы сколько-нибудь расположены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла голову, она не знает, что говорит и что

делает.

— Простить ее? Охотно; но что я от вас за это получу?

— Ах, матушка, я была бы счастлива, если бы у меня нашлось что-нибудь, что могло бы вам понравиться и вас успокоить.

Она потупила глаза, покраснела и вздохнула — ну совсем как влюбленный. Затем прошептала, бессильно опираясь на меня, словно готовая лишиться чувств:

— Подставьте ваш лоб, я его поцелую.

Я наклонилась, и она поцеловала меня в лоб.

С той поры, когда какой-нибудь монахине случалось провиниться, я заступалась за нее и была уверена, что ценою самой невинной ласки добьюсь ее прощения. Она целовала мне лоб, шею, губы, руки или плечи, но чаще всего губы; она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы, свежий и алый рот.

Право, я была бы просто красавицей, если бы хоть в малейшей степени заслуживала тех похвал, которые она мне расточала. Любуясь моим лбом, она говорила, что он бел, гладок и прекрасно очерчен; о моих глазах она говорила, что они сверкают как звезды; о моих щеках — что они румяны и нежны; она находила, что ни у кого нет

таких округлых, словно точеных, рук с такими маленькими, пухлыми кистями; что грудь моя тверда как камень и чудесной формы; что такой изумительной, редкой по красоте шеи нет ни у одной из сестер. Чего только она мне не говорила — всего не перескажешь! Какая-то доля правды все же была в ее словах. Многое я считала преувеличением, но не все.

Иногда, окидывая меня с головы до ног восторженным взглядом, какого я никогда не замечала ни у одной женщины, она восклицала:

— Нет, это величайшее счастье, что господь призвал ее к затворничеству! С такой наружностью, живя в миру, она погубила бы всех мужчин, которые встретились бы на ее пути, и сама погибла бы вместе с ними. Все, что делает бог, он делает к лучшему.

Мы подошли к ее келье; я собиралась покинуть ее, но она взяла меня за руку и сказала:

— Слишком поздно начинать ваш рассказ о монастырях Святой Марии и лоншанском; но входите, вы сможете дать мне коротенький урок музыки.

Я последовала за ней. Вмиг она открыла клавесин, поставила ноты, придвинула стул — она ведь была очень подвижна. Я села. Опасаясь, как

бы я не озябла, она сняла подушку с одного стула, положила ее передо мной, нагнулась к моим ногам и поставила их на подушку. Сперва я взяла два-три аккорда, а затем сыграла несколько пьес Куперена, Рамо и Скарлатти. Тем временем она приподняла мой нагрудник и положила руку на мое голое плечо, причем кончики ее пальцев касались моей груди. Казалось, ей было душно, она тяжело дышала. Рука, лежавшая на моем плече, вначале его сильно сжимала, потом ослабела, как бы обессиленная и безжизненная, голова ее склонилась к моей. Право, эта сумасбродка была наделена необычайной чувствительностью и сильнейшей любовью к музыке. Я никогда не встречала людей, на которых музыка производила бы такое странное впечатление.

Так проводили мы время бесхитростно и приятно, как вдруг распахнулась дверь. Я испугалась, настоятельница тоже. Ворвалась эта шалая сестра Тереза; одежда ее была в беспорядке, глаза мутны; она с самым пристальным вниманием оглядывала нас обеих, губы ее дрожали, она не могла произнести ни слова. Однако она тут же пришла в себя и бросилась перед настоятельницей на колени. Я присоединила свои просьбы к ее мольбам и снова добилась ее прощения. Но

настоятельница заявила ей самым решительным образом, что это в последний раз, по крайней мере, за провинности такого рода, и мы вышли вдвоем с Терезой.

По дороге в наши кельи я сказала ей:

— Милая сестра, будьте осторожны, вы восстановите против себя нашу матушку. Я вас не оставлю, но вы подорвете мое влияние на нее, и тогда, к великому сожалению, я уже ни в чем не смогу помочь ни вам, ни кому бы то ни было. Но скажите мне, что вас тревожит?

Никакого ответа.

— Чего опасаетесь вы с моей стороны?

Никакого ответа.

— Разве наша матушка не может одинаково любить нас обеих?

— Нет, нет, — с горячностью воскликнула она, — это невозможно! Скоро я стану ей противна и умру от горя. Ах, зачем вы приехали сюда? Вы здесь недолго будете счастливы, я в этом уверена; а я стану навеки несчастной.

— Я знаю, что потерять благоволение настоятельницы — это большая беда, — сказала я, — однако я знаю другую, еще большую беду — если такая немилость заслуженна. Но ведь вы ни в чем не можете себя упрекнуть.

— Ах, если бы это было так!

— Если вы в глубине души чувствуете за собой какую-нибудь вину, надо постараться ее загладить, и самое верное средство — это терпеливо переносить кару.

— Нет, я не могу, не могу, да и ей ли карать меня!

— Конечно, ей, сестра Тереза, конечно же, ей! Разве так говорят о настоятельнице? Это не годится, вы забываетесь. Я уверена, что нынешняя ваша вина более серьезна, чем все те, за которые вы себя корите.

— Ах, если бы это было так, — повторила она, — если бы было так!..

И мы расстались. Она заперлась у себя в келье, чтобы предаться своему горю, я же в своей, чтобы поразмыслить над странностями женского характера.

Таковы плоды затворничества. Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, изолируйте его — и мысли у него спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Посадите человека в лесную глушь — он одичает; в монастыре, где заботы о насущных

потребностях усугубляются тяготами неволи, еще того хуже. Из леса можно выйти, из монастыря выхода нет. В лесу ты свободен, в монастыре ты раб. Требуется больше душевной силы, чтобы противостоять одиночеству, чем нужде. Нужда принижает, затворничество развращает. Что лучше — быть отверженным или безумным? Не берусь решать это, но следует избегать и того и другого.

Я замечала, что нежная привязанность, которую возымела ко мне настоятельница, растет с каждым днем. Я постоянно заходила в ее келью, или же она бывала в моей. При малейшем недомогании она отсылала меня в лазарет. Она освобождала меня от церковных служб, разрешала рано ложиться, запрещала присутствовать на заутрене. В церкви, в трапезной, в рекреационной зале она находила возможность выказать мне свою благосклонность. На молитве, когда встречался какой-нибудь задушевный, трогательный стих, она пела, обращаясь ко мне, или пристально на меня смотрела, когда пел кто-нибудь другой. В трапезной она всегда посылала мне какое-нибудь вкусное блюдо, которое ей подавали, в рекреационной зале обнимала меня за талию и осыпала приветливыми и ласковыми словами. Какое бы

подношение она ни получала — шоколад, сахар, кофе, ликеры, табак, белье, носовые платки, — она всем делилась со мной. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою и перенесла ко мне эстампы, утварь, мебель и множество приятных и удобных вещиц. Я не могла выйти на минутку из своей кельи, чтобы, вернувшись, не найти какого-нибудь подарка. Я бежала благодарить ее, и она испытывала радость, которую трудно передать. Она меня целовала, ласкала, сажала к себе на колени, посвящала в самые секретные монастырские дела и уверяла, что жизнь ее в монастыре будет протекать во сто крат более счастливо, чем если бы она оставалась в миру, — только бы я любила ее.

Как-то раз после такого разговора она посмотрела на меня растроганными глазами и спросила:

— Сестра Сюзанна, любите вы меня?

— Как же мне не любить вас, матушка? Не такая же я неблагодарная.

— Да, конечно.

— В вас столько доброты!

— Скажите лучше: столько нежности к вам…

При этих словах она опустила глаза. Одной рукой она все крепче обнимала меня, а другой, которая лежала на моем колене, все сильнее

на него опиралась. Она привлекла меня к себе, прижалась лицом к моему лицу, вздохнула, откинулась на спинку стула, задрожала; казалось, что она хочет что-то доверить мне и не решается. И, проливая слезы, она сказала:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!

— Не люблю вас, матушка?

— Нет.

— Скажите же, чем я могла бы вам это доказать.

— Догадайтесь сами.

— Я стараюсь догадаться, но не могу.

Она сбросила свою шейную косынку и положила мою руку себе на грудь. Она молчала, я тоже хранила молчание. Казалось, что она испытывает величайшее удовольствие. Она подставляла мне для поцелуев лоб, щеки и руки, и я целовала ее. Не думаю, чтобы в этом было что-нибудь дурное. Между тем испытываемое ею наслаждение все возрастало; а я, желая так невинно доставить ей еще больше счастья, снова целовала ей лоб, щеки, глаза и губы. Рука, лежавшая раньше на моем колене, скользила по моей одежде от самых ступней до пояса, сжимая меня то здесь, то там. Запинаясь, глухим, изменившимся голосом настоятельница просила не прекращать мои ласки.

Я подчинилась. И наконец настала минута, когда она — не знаю, от сильного удовольствия или от страдания, — побледнела как мертвая; глаза ее закрылись, тело судорожно вытянулось, губы, сначала крепко сжатые, увлажнились, и на них выступила легкая пена. Потом рот полуоткрылся, она испустила глубокий вздох. Мне показалось, что она умирает. Я вскочила, решив, что ей стало дурно, и хотела выбежать, чтобы позвать на помощь. Она приоткрыла глаза и сказала мне слабым голосом:

— Невинное дитя! Успокойтесь. Куда вы? Постойте…

Я смотрела на нее, ничего не понимая, не зная, оставаться или уходить. Она совсем открыла глаза, но не могла произнести ни слова и знаком попросила меня приблизиться и снова сесть к ней на колени. Не знаю, что со мной происходило; я была испугана, вся дрожала, сердце у меня сильно билось, я тяжело дышала, чувствовала себя смущенной, подавленной, взволнованной; мне было страшно; казалось, что силы меня покидают и что я лишаюсь чувств. Однако я бы не сказала, что мои ощущения были мучительны. Я подошла к ней; она снова знаком попросила меня сесть к ней на колени. Я села. Она казалась

мертвой, я — умирающей. Мы обе довольно долго оставались в таком странном положении. Если бы неожиданно вошла какая-нибудь монахиня — право, она бы перепугалась. Она вообразила бы, что мы либо потеряли сознание, либо заснули. Наконец моя добрая настоятельница — ибо невозможно обладать такой чувствительностью, не будучи доброй, — стала приходить в себя. Она все еще полулежала на своем стуле, глаза ее были закрыты, но лицо оживилось, на нем появился яркий румянец. Она брала то одну мою руку, то другую и целовала их.

— Матушка, как вы меня напугали! — сказала я ей.

Она кротко улыбнулась, не раскрывая глаз.

— Разве вам не было дурно?

— Нет.

— А я думала, что вам стало нехорошо.

— Наивное дитя! Ах, дорогая малютка, до чего она мне нравится!

Говоря это, она поднялась и снова уселась на свой стул, обняла меня обеими руками, крепко поцеловала в обе щеки и спросила:

— Сколько вам лет?

— Скоро исполнится двадцать.

— Не верится.

— Это истинная правда, матушка.

— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы мне ее расскажете?

— Конечно, матушка.

— Все расскажете?

— Все.

— Однако сюда могут войти. Сядем за клавесин. Вы мне дадите урок.

Мы подошли к клавесину. Уж не знаю, по какой причине, но у меня дрожали руки, ноты сливались перед глазами, и я не могла играть. Я ей об этом сказала, она рассмеялась и заняла мое место, но у нее вышло еще хуже: она с трудом держала руки на клавишах.

— Дитя мое, — сказала настоятельница, — я вижу, что вы не в состоянии дать мне урок, а я не в состоянии заниматься. Я слегка утомлена, мне нужно отдохнуть. До свидания. Завтра, не откладывая, я должна узнать все, что происходило в этом сердечке. До свидания…

Обычно, когда мы расставались, она провожала меня до порога и смотрела мне вслед, пока я по коридору не доходила до своей кельи. Она посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только тогда, когда я закрывала за собой дверь.

На этот раз она едва приподнялась и смогла

лишь добраться до кресла, стоявшего у ее кровати, села, опустила голову на подушку, послала мне воздушный поцелуй, глаза ее закрылись, и я ушла.

Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы; дверь в нее была отворена. Тереза поджидала меня; она остановила меня и спросила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы были у матушки?

— Да, — ответила я.

— И долго вы там пробыли?

— Столько времени, сколько она пожелала.

— А ваше обещание?

— Я ничего вам не обещала.

— Осмелитесь ли вы рассказать мне, что вы там делали?

Хотя совесть ни в чем меня не упрекала, все же не скрою от вас, господин маркиз, что ее вопрос меня смутил. Она это заметила, стала настаивать, и я ответила:

— Милая сестра, быть может, мне вы не поверите, но вы, наверно, поверите нашей матушке. Я попрошу ее рассказать вам обо всем.

— Что вы, сестра Сюзанна, — с жаром прервала она меня, — упаси вас боже! Вы не захотите сделать меня несчастной. Она мне этого никогда не простит. Вы ее не знаете: она способна от са-

мой большой нежности перейти к величайшей жестокости. Не знаю, что тогда будет со мной! Обещайте ничего ей не говорить.

— Вы этого хотите?

— Я на коленях молю вас об этом. Я в отчаянии, я понимаю, что должна покориться, и я покорюсь. Обещайте мне ничего ей не говорить…

Я подняла ее и дала ей слово молчать. Она поверила мне и не ошиблась. Мы разошлись по своим кельям.

Вернувшись к себе, я не в состоянии была собраться с мыслями; хотела молиться — и не могла, старалась чем-нибудь заняться, взялась за одну работу и оставила ее, принялась за другую, но и ее бросила и перешла к третьей. Все валилось у меня из рук, я совсем отупела. Никогда еще я не испытывала ничего подобного. Глаза мои слипались; я задремала, хотя днем никогда не сплю. Проснувшись, я стала разбираться в том, что произошло между мною и настоятельницей, я тщательно проверяла себя, и после долгих размышлений мне показалось, что… но это были такие смутные, такие безумные и нелепые мысли, что я их отбросила. В результате я пришла к выводу, что настоятельница, должно быть, подвержена какой-то болезни; а потом мне пришла

и другая мысль — что, по-видимому, болезнь эта заразительна, что она передалась уже сестре Терезе и что мне тоже ее не миновать.

На следующий день после заутрени настоятельница сказала мне:

— Сестра Сюзанна, сегодня я надеюсь узнать все, что вам пришлось пережить. Идемте.

Я последовала за ней. Она усадила меня в свое кресло рядом с кроватью, а сама поместилась на более низком стуле. Я выше ростом, и сиденье мое было выше, поэтому я несколько возвышалась над ней. Настоятельница находилась так близко от меня, что прижала свои колени к моим и облокотилась на кровать.

После минуты молчания я начала свой рассказ:

— Хотя я еще очень молода, но перенесла много горя. Вот уже скоро двадцать лет, как я живу на свете, и двадцать лет, как страдаю. Не знаю, сумею ли я вам все рассказать и хватит ли у вас сил меня выслушать. Много выстрадала я в родительском доме, страдала в монастыре Святой Марии, страдала в лоншанском монастыре — всюду были одни страдания. С чего начать мне, матушка?

— С первых горестей.

— Но рассказ мой будет очень длинным и груст-

ным; я бы не хотела огорчать вас так долго.

— Не бойся, я люблю поплакать; лить слезы — такое чудесное состояние для чувствительной души. Ты, наверно, тоже любишь плакать? Ты утрешь мои слезы, а я твои, и, может быть, когда ты будешь рассказывать о своих страданиях, мы будем счастливы. Как знать, куда приведет нас наше умиление?

При последних словах она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами. Она взяла меня за руки и еще больше придвинулась ко мне, так что мы касались друг друга.

— Рассказывай, дитя мое, — промолвила она, — я жду, я чувствую самую настоятельную потребность растрогаться. Кажется, за всю свою жизнь я никогда еще не была до такой степени преисполнена сострадания и нежности…

И вот я начала свой рассказ, почти совпадающий с тем, что я написала вам. Невозможно передать впечатление, которое он на нее произвел; как она вздыхала, сколько пролила слез, как негодовала против моих жестоких родителей, против отвратительных сестер из монастыря Св. Марии и из лоншанского монастыря. Я бы не хотела, чтобы на них обрушилась хоть малая доля тех бед, которые она им желала. Нет, мне не

хотелось бы, чтобы хоть волос упал из-за меня с головы моего злейшего врага.

Время от времени она меня прерывала, вставала и прохаживалась по комнате, потом снова садилась на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу, потом прятала лицо в моих коленях.

Когда я ей рассказывала о сцене в карцере, об изгнании из меня беса, о моем церковном покаянии, она чуть не рыдала. Когда же я дошла до конца и умолкла, она низко склонилась к своей кровати, уткнулась лицом в одеяло, заломила руки и долго оставалась в таком положении.

— Матушка, — обратилась я к ней, — простите меня за огорчение, которое я вам причинила. Я вас предупреждала, но вы сами захотели…

Она ответила лишь следующими словами:

— Злые твари! Подлые твари! Только в монастыре можно до такой степени утратить человеческие чувства. Когда к обычному дурному расположению духа присоединяется еще ненависть, они переходят уже все границы. К счастью, я кротка и люблю всех своих монахинь; одни из них в большей, другие в меньшей степени уподобились мне, и все любят друг друга. Но как такое слабое здоровье могло выдержать столько

мучений? Как эти маленькие руки и ноги не надломились? Как такой хрупкий организм все это выдержал? Как блеск этих глаз не угас от слез? Безжалостные! Скрутить эти руки веревками! — И она брала мои руки и целовала их. — Затопить слезами эти глаза! — И она целовала мои глаза. — Исторгнуть жалобы и стоны из этих уст! — И она целовала меня в губы. — Затуманить печалью это прелестное и безмятежное лицо! — И она целовала меня. — Согнать румянец с этих щек! — И она гладила мои щеки и целовала их. — Обезобразить эту головку, вырывая волосы! Омрачить этот лоб тревогами! — И она целовала мне голову, лоб, волосы… — Осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать острием бича эти плечи!

Она приподняла мой нагрудник и головной убор, расстегнула верх моего одеяния. Мои волосы рассыпались по голым плечам, моя грудь была наполовину обнажена, и она покрывала поцелуями мою шею, плечи и полуобнаженную грудь.

Тут я заметила по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блуждающим глазам, по трясущимся рукам, по ее коленям, которые прижимались к моим, по пылкости и неистовству ее объятий, что припадок у нее не замедлит повториться. Не знаю, что происходило со мной, но

меня охватил ужас: я вся дрожала, была близка к обмороку. Все это подтверждало мое подозрение, что болезнь ее заразительна.

— Матушка, в какой вид вы меня привели? Если кто-нибудь войдет…

— Останься, — просила она меня глухим голосом, — никто сюда не придет.

Но я старалась встать и вырваться от нее.

— Матушка, — сказала я ей, — поберегите себя, не то приступ вашей болезни снова повторится. Разрешите мне покинуть вас…

Я хотела уйти, хотела — в этом сомнения нет, — но не могла. Я чувствовала полный упадок сил, ноги у меня подкашивались. Она сидела, а я стояла; она потянула меня к себе; я боялась на нее упасть и ушибить ее. Я села на край ее кровати и сказала ей:

— Матушка, не знаю, что со мной; мне дурно.

— И мне тоже, — ответила она. — Приляг, это пройдет, это пустяки.

В самом деле, настоятельница успокоилась, и я тоже. Мы обе были в изнеможении: я опустила голову на ее подушку, она склонила голову на мои колени и прижалась к моей руке. В таком положении мы оставались несколько минут. Не знаю, о чем она думала, я же ни о чем не могла

думать: я была совершенно без сил.

Мы обе хранили молчание; настоятельница первая нарушила его и сказала:

— Сюзанна, судя по тому, что вы мне говорили о вашей первой настоятельнице, она, по-видимому, была вам очень дорога.

— Очень.

— Она любила вас не больше, чем я; но вы ее больше любили… Не так ли?

— Я была очень несчастна, она утешала меня в моих горестях.

— Но откуда у вас такое отвращение к монастырской жизни? Сюзанна, вы от меня что-то скрываете!

— Вы ошибаетесь, матушка.

— Не может быть, чтобы вам, такой очаровательной, — а вы полны очарования, дитя мое, вы даже сами не знаете, как оно велико, — не может быть, чтобы вам никто не говорил об этом.

— Мне говорили.

— А тот, кто говорил, вам нравился?

— Да.

— И вы почувствовали склонность к нему?

— Нет, нисколько.

— Как, ваше сердце никогда не трепетало?

— Никогда.

— Сюзанна, разве не страсть, тайная или порицаемая вашими родителями, причина вашей неприязни к монастырю? Доверьтесь мне, я снисходительна.

— Мне нечего доверить вам, матушка.

— Но все же скажите, что вызвало в вас такое отвращение к монастырской жизни?

— Сама эта жизнь. Я ненавижу весь ее уклад, обязанности, которые возлагаются на нас, затворничество, принуждение. Мне кажется, что мое призвание — в другом.

— Но почему вам это кажется?

— Потому, что меня гнетет тоска, я тоскую.

— Даже здесь?

— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне.

— Быть может, в глубине вашей души рождаются безотчетная тревога, какие-нибудь желания?

— Нет, никогда.

— Верю; мне кажется, что у вас спокойный нрав.

— В достаточной степени.

— Даже холодный.

— Возможно.

— Вы не знаете мирской жизни?

— Я мало ее знаю.

— Чем же она привлекает вас?

— Не могу сама себе уяснить, но, вероятно, в ней есть для меня какая-то прелесть.

— Не сожалеете ли вы о свободе?

— Конечно; а может быть, о многом другом.

— О чем же именно? Друг мой, говорите откровенно. Хотели бы вы быть замужем?

— Я бы предпочла замужество моему теперешнему положению. Это несомненно.

— Откуда такое предпочтение?

— Не знаю.

— Не знаете? Скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчины?

— Никакого. Если он умен и красноречив, я слушаю его с удовольствием; если он хорош собой, это не ускальзывает от моего внимания.

— И ваше сердце остается спокойным?

— До сих пор оно не знало волнений.

— Даже когда их страстные взгляды ловили ваши, разве вы не испытывали…

— Иногда я испытывала смущение; я опускала глаза.

— И ваш покой не был нарушен?

— Нет.

— И страсти ваши молчали?

— Я не знаю, что такое язык страстей.

— Однако он существует.

— Возможно.

— И вы не знакомы с ним?

— Не имею о нем понятия.

— Как! Вы… А ведь это очень сладостный язык. Хотели бы вы узнать его?

— Нет, матушка, для чего он мне?

— Для того, чтобы рассеять вашу тоску.

— А может быть, он усилит ее. И чему может послужить этот язык страстей, если не с кем говорить?

— Когда пользуешься им, то всегда к кому-нибудь обращаешься. Конечно, это лучше, чем такая беседа с самим собой, хотя и последнее не лишено прелести.

— Я ничего в этом не смыслю.

— Если хочешь, дорогое дитя, я могу выразиться яснее.

— Не надо, матушка, не надо. Я ничего не знаю и предпочитаю оставаться в неведении, нежели узнать то, что, быть может, сделает меня еще более несчастной. У меня нет желаний, и я не стремлюсь иметь такие желания, которых не смогу удовлетворить.

— А почему бы ты не смогла удовлетворить их?

— Да как же?

— Так, как я.

— Как вы? Но ведь в этом монастыре никого нет.

— Есть вы, дорогой друг, и есть я.

— Ну, и что же я для вас? Что вы для меня?

— Какая невинность!

— Вы правы, матушка, я очень невинна и предпочла бы умереть, чем перестать быть такою, какая я есть.

Не знаю, почему последние мои слова произвели на настоятельницу неприятное впечатление; лицо ее вдруг изменилось, она стала серьезной, пришла в замешательство. Рука ее, которая лежала на моем колене, перестала его сжимать, потом она совсем убрала руку. Глаза ее были опущены.

— Что случилось, матушка? — спросила я ее. — Или у меня сорвалось какое-нибудь слово, обидевшее вас? Простите меня. Я пользуюсь свободой, которую вы сами мне предоставили. Я не взвешиваю того, что говорю вам, и даже если б я взвешивала свои слова, я бы иначе не выразилась, а может быть, сказала бы что-нибудь еще более неуместное. Предмет нашей беседы так чужд мне! Простите меня…

При последних словах я обвила руками шею

настоятельницы и прильнула головой к ее плечу. Она порывисто меня обняла и нежно прижала к себе. Так мы оставались несколько минут. Затем, обретя спокойствие, она с обычной сердечностью спросила:

— Сюзанна, вы хорошо спите?

— Прекрасно, — ответила я, — особенно в последнее время.

— И скоро засыпаете?

— Обычно довольно скоро.

— А когда вы засыпаете не сразу, о чем вы думаете?

— О моей прошлой жизни, о той, которую остается прожить; молюсь богу или плачу — всего не перескажешь.

— А утром, когда вы рано просыпаетесь?

— Я встаю.

— Вы сразу встаете?

— Сразу.

— Не любите помечтать?

— Нет.

— Понежиться на подушке?

— Нет.

— Насладиться теплотой постели?

— Нет.

— Никогда?..

Она остановилась на этом слове, и не без основания. То, о чем она собиралась спросить меня, было дурно, и возможно, что я поступаю еще хуже, передавая это вам, но я решила ничего не утаивать.

— У вас никогда не являлся соблазн полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я хороша, как вы находите; но если бы я и была красива, то мною должны были бы любоваться другие, а не я сама.

— А у вас не являлась мысль провести рукой по этой чудесной груди, по бедрам, по животу, по этому крепкому телу, такому нежному и белому?

— О, никогда. Ведь это грешно, и если бы это случилось, я не знаю, как бы я в этом созналась на исповеди…

Не помню, о чем еще у нас шел разговор, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее ожидают в приемной. Мне показалось, что посещение это ее раздосадовало и что она предпочла бы продолжать нашу беседу, хотя мы болтали о таких пустяках, что о них не стоило жалеть. Мы расстались.

Никогда еще община не переживала таких счастливых дней, как со времени моего вступле-

ния в монастырь. Казалось, что сгладились все неровности характера настоятельницы. Говорили, что благодаря мне она обрела душевное равновесие. Она даже предоставила общине ради меня несколько дней отдыха; а в такие дни, называемые праздниками, стол бывает несколько лучше, чем обычно, церковные службы короче и все время между ними отводится развлечениям. Но это счастливое время вскоре должно было кончиться для всех, как и для меня.

За только что приведенным мною эпизодом последовало множество ему подобных, но я их опускаю. Вот что случилось после первого из них.

Какая-то тревога охватила настоятельницу, она похудела, потеряла обычную жизнерадостность и покой. Следующей ночью, когда все уже спали и в монастыре воцарилась тишина, она встала с постели и, побродив по коридорам, подошла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось, что я узнала ее шаги. Она остановилась, по-видимому, прижалась лбом к моей двери, и шорох, которым все это сопровождалось, бесспорно разбудил бы меня, если бы я спала. Я молчала; мне послышались какие-то жалобные стоны и вздохи. Я вздрогнула, потом решила прочесть

«Ave». Вместо того чтобы подать голос, кто-то легкими шагами удалился и через некоторое время снова вернулся. Вздохи и стенания возобновились, я опять прочла молитву, и шаги удалились во второй раз. Я успокоилась и уснула. Во время моего сна кто-то вошел ко мне, сел возле моей кровати и приоткрыл полог. Держа в руке маленькую свечу, свет от которой падал мне в лицо, вошедшая смотрела на меня в то время, как я спала, — так мне, по крайней мере, показалось, судя по ее позе, когда я открыла глаза. Это была наша настоятельница.

Я вскочила. Она заметила мой испуг и промолвила:

— Сюзанна, успокойтесь, это я…

Я снова положила голову на подушку.

— Матушка, — спросила я, — что вы здесь делаете в такой поздний час? Что вас сюда привело? Почему вы не спите?

— Я не могу уснуть, — ответила она, — и не усну еще долго. Меня мучают тяжелые сны. Стоит мне закрыть глаза, как страдания, перенесенные вами, представляются моему воображению: я вижу вас в руках этих бессердечных женщин, вижу ваши рассыпавшиеся по лицу волосы, ваши окровавленные ноги, вижу вас с факелом в руке и

с веревкой на шее; мне кажется, что они собираются вас умертвить. Я вздрагиваю, вся трепещу, обливаюсь холодным потом; хочу прийти вам на помощь, испускаю крики, просыпаюсь и тщетно стараюсь снова заснуть. Вот что случилось со мной сегодня ночью. Я со страхом подумала, что это само небо предупреждает меня о беде, которая стряслась с моим другом. Я встала, подошла к вашим дверям и прислушалась. Мне показалось, что вы не спите; вы что-то говорили, я ушла. Я снова вернулась, вы опять заговорили, и я опять ушла. Я вернулась в третий раз и, когда решила, что вы уснули, вошла к вам. Уже довольно долго я сижу возле вас и боюсь вас разбудить. Вначале я не решалась отдернуть ваш полог, хотела уйти из боязни нарушить ваш покой, но не могла удержаться от желания узнать, хорошо ли себя чувствует моя дорогая Сюзанна. Я смотрела на вас. Как вы прекрасны даже во сне!

— Вы так добры, матушка!

— Я озябла, но теперь я знаю, что мне нечего бояться за мою малютку, и думаю, что засну. Дайте мне вашу руку.

Я ей подала руку.

— Какой спокойный пульс, какой ровный! Ничто ее не волнует.

— У меня довольно спокойный сон.

— Какая вы счастливая!

— Матушка, вы еще больше озябнете.

— Вы правы; до свидания, дружок, до свидания, я ухожу.

Однако она не уходила и продолжала на меня смотреть. Две слезы скатились из ее глаз.

— Матушка, — воскликнула я, — что с вами? Вы плачете? Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях!..

В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне. Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла, прижалась лицом к моему лицу и орошала его слезами. Она вздыхала и говорила жалобным и прерывающимся голосом:

— Дорогой друг, пожалейте меня!..

— Матушка, — спросила я, — что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать?

— Меня трясет, — прошептала она, — я вся дрожу, смертельный холод пронизывает все мое тело.

— Хотите, я встану и уступлю вам свою постель?

— Нет, — сказала она, — вам не нужно вставать, приподнимите немного одеяло, я лягу рядом с

вами, согреюсь, и все пройдет.

— Матушка, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом? Случалось, что на монахинь налагали епитимьи и за меньшие провинности. В монастыре Святой Марии одна монахиня вошла ночью в келью к другой, к своей закадычной подруге, и не могу вам даже передать, как о ней дурно отзывались. Духовник несколько раз меня спрашивал, не предлагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной, и строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как вы ласкали меня — я ведь ничего дурного в этом не вижу, — но он совсем другого мнения. Не понимаю, как я могла забыть его наставления; я твердо решила поговорить с вами об этом.

— Друг мой, — сказала она, — все спят, и никто ничего не узнает. Я награждаю, и я наказываю, и, что бы ни говорил духовник, я не вижу дурного в том, что подруга пускает к себе подругу, которую охватило беспокойство, которая проснулась и ночью, несмотря на холод, пришла узнать, не грозит ли опасность ее милочке. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось спать вместе с одной из ваших сестер?

— Нет, никогда.

— Если бы явилась такая необходимость, разве

вы бы не сделали этого без всяких угрызений совести? Если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода, попросила местечко рядом с вами, неужели вы бы отказали ей в этом?

— Думаю, что нет.

— А разве я не ваша матушка?

— Да, конечно; но это запрещено.

— Дорогой друг, я это запрещаю другим, вам же я это разрешаю и об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду. Дайте мне руку.

Я дала ей руку.

— Вот потрогайте — я дрожу, меня знобит. Я вся заледенела.

И это была сущая правда.

— Ах, матушка, да вы заболеете. Подождите, я отодвинусь на край кровати, а вы ляжете в тепло.

Я примостилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место. Как ей было плохо! Ее всю трясло как в лихорадке. Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но язык повиновался ей с трудом, она не могла шевельнуться.

— Сюзанна, — прошептала она, — друг мой, придвиньтесь ко мне.

Она протянула руки. Я повернулась к ней спиной, она обняла меня и привлекла к себе; правую

руку она подсунула снизу, левую положила на меня.

— Я вся закоченела, мне так холодно, что я не хочу прикоснуться к вам; боюсь, что вам это будет неприятно.

— Не бойтесь, матушка.

Она тотчас положила одну руку мне на грудь, а другой обвила мою талию. Ее ступни были под моими ступнями; я растирала их ногами, чтобы согреть, а матушка говорила мне:

— Ах, дружок мой, видите, как скоро согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам.

— Но что же мешает вам, матушка, таким же образом согреться всей?

— Ничего, если только вы согласны, — сказала она.

Я повернулась к ней лицом, она спустила с себя сорочку, а я расстегнула свою, но тут кто-то три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу соскочила с кровати в одну сторону, настоятельница — в другую. Мы прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью.

— Ах, — воскликнула я, — это сестра Тереза. Она видела, как вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверно, разо-

брала то, что мы говорили. Что она подумает?

Я была ни жива ни мертва.

— Да, это она, — раздраженным тоном подтвердила настоятельница, — это она, я в этом не сомневаюсь; но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзость.

— Ах, матушка, не поступайте с ней слишком строго.

— До свидания, Сюзанна, — сказала она мне, — доброй ночи; ложитесь в постель и спите спокойно, я вас освобождаю от заутрени. Пойду к этой сумасбродке. Дайте мне руку…

Я протянула ей руку через кровать. Она приподняла рукав моей рубашки и, вздыхая, покрыла поцелуями руку — с кончиков пальцев до плеча. Потом вышла, твердя, что дерзкой девчонке, осмелившейся ее обеспокоить, это даром не пройдет.

Я поспешно пододвинулась к другому краю кровати, поближе к дверям, и стала слушать: настоятельница вошла к сестре Терезе. У меня явилось сильное желание встать и, если сцена окажется очень бурной, пойти и заступиться за сестру. Но мне было так не по себе, я была так взволнована, что предпочла остаться в постели. Однако заснуть я не могла. Я подумала, что весь монастырь станет злословить на мой счет, что

это происшествие, само по себе такое обыденное, разукрасят самыми неблаговидными подробностями, что здесь мое положение будет еще хуже, чем в Лоншане, где все обвинения были совершенно необоснованны, что наш проступок будет доведен до сведения начальства, что нашу настоятельницу сместят и нас обеих строго накажут. Я была настороже, с нетерпением ожидая, когда настоятельница выйдет от сестры Терезы. По-видимому, уладить это дело было не так-то легко, потому что она провела там почти всю ночь. Как я ее жалела! Она была в одной рубашке, босая и вся дрожала от гнева и холода.

Утром у меня был большой соблазн воспользоваться разрешением настоятельницы и остаться в постели, но потом я подумала, что этого не следует делать. Я поспешила одеться и первой оказалась в церкви, куда ни настоятельница, ни сестра Тереза не явились вовсе. Отсутствие Терезы доставило мне большое удовольствие: во-первых, потому, что я не смогла бы без смущения встретиться с ней; во-вторых, разрешение не приходить к заутрене говорило о том, что, по всей вероятности, она добилась от настоятельницы прощения и мне не о чем было беспокоиться. Я угадала.

Как только окончилась служба, настоятельница послала за мной. Я зашла к ней; она еще была в постели. Вид у нее был очень усталый, и она мне сказала:

— Мне нездоровится, я совсем не спала. Сестра Тереза сошла с ума. Если это еще раз с ней повторится, мне придется посадить ее под замок.

— Ах, матушка, никогда этого не делайте, — попросила я.

— Это будет зависеть от ее поведения. Она мне обещала исправиться, и я на это рассчитываю. А вы как себя чувствуете, дорогая Сюзанна?

— Недурно, матушка.

— Вы хоть немного поспали?

— Совсем мало.

— Мне говорили, что вы были в церкви. Почему вы так рано встали?

— Я бы плохо себя чувствовала в постели. И потом, мне показалось, что будет лучше, если…

— Нет, ничего неуместного в этом бы не было. Мне хочется подремать, я советую вам пойти к себе и тоже отдохнуть, если только вы не предпочитаете прилечь рядом со мной.

— Я очень вам благодарна, матушка, но привыкла быть одна в постели, иначе я не смогу заснуть.

— Ну так идите. Я не спущусь в трапезную к обеду, мне подадут сюда. Возможно, что я останусь в постели весь день. Приходите ко мне, у меня будут еще несколько монахинь, которых я к себе пригласила.

— А сестра Тереза тоже придет? — спросила я.

— Нет, — ответила она.

— Очень рада.

— Почему?

— Не знаю, но мне как-то страшно встретиться с ней.

— Успокойся, дитя мое. Поверь мне, это она боится тебя, а тебе нечего ее бояться.

Я покинула настоятельницу и пошла к себе отдохнуть. После обеда я снова вернулась к ней и застала в ее келье довольно многолюдное общество, состоявшее из самых молодых и хорошеньких монахинь нашего монастыря. Остальные только навестили ее и ушли. Уверяю вас, господин маркиз, — вы ведь знаете толк в живописи, — что картина, представшая перед моими глазами, не лишена была прелести. Вообразите себе мастерскую, где работали десять-двенадцать девушек, из которых младшей лет пятнадцать, а старшая не достигла еще двадцати трех. На своей кровати полулежала настоятельница, женщина

лет сорока, белая, свежая, пухлая, с двойным подбородком, мало портившим ее, с полными, будто выточенными руками в ямочках, с тонкими длинными пальцами, с большими черными глазами, живыми и ласковыми, почти всегда полузакрытыми, словно их обладательнице слишком утомительно полностью их открыть, с алыми, как роза, губами, с белоснежными зубами, прелестными щеками, красивой головой, глубоко ушедшей в мягкую, пышно взбитую подушку. Руки, лениво вытянутые по бокам, покоились на подложенных под локти подушечках. Я сидела на краю кровати и ничего не делала; одна монахиня поместилась в кресле, держа на коленях маленькие пяльцы, некоторые уселись у окон и плели кружева, другие, устроившись на полу, на подушках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по ниткам ткань или пряли на маленьких прялках. Тут были и блондинки, и брюнетки, ни одна не походила на другую, но все были хороши собой. По характеру они были столь же различны, как и по наружности. Одни были невозмутимо-спокойны, другие веселы, некоторые серьезны, задумчивы или грустны. Как я уже сказала, все, за исключением меня, работали. Нетрудно было определить, кто с кем

дружит, кто к кому относится равнодушно или враждебно. Подруги поместились рядом или одна против другой. Работая, они болтали, советовались, переглядывались; передавая булавку, иглу или ножницы, пожимали друг другу украдкой пальцы. Глаза настоятельницы останавливались то на одной, то на другой; одну она журила за слишком большое усердие, другую за праздность, ту за равнодушие, эту за грусть. Некоторым она приказывала показать ей работу, хвалила или отзывалась неодобрительно, поправляла кое-кому головной убор.



— Покрывало чересчур надвинуто... Чепец слишком закрывает лицо, недостаточно видны щеки. Складки эти плохо заложены. — И к каж-

дой она обращалась либо с ласковым словом, либо с легким укором.

В то время как мы были заняты таким образом, я услышала легкий стук и направилась к двери.

Настоятельница крикнула мне вслед:

— Сестра Сюзанна, вы вернетесь?

— Конечно, матушка.

— Непременно возвращайтесь; я должна сообщить вам нечто очень важное.

— Я сейчас же вернусь…

За дверью стояла бедная сестра Тереза. Несколько минут она не могла произнести ни слова; я тоже молчала, потом спросила ее:

— Сестра, это меня вы хотели видеть?

— Да.

— Что я могу для вас сделать?

— Сейчас скажу. Я навлекла на себя немилость матушки. Я полагала, что она меня простила, и имела некоторые основания так думать. Однако все вы собрались у нее, кроме меня. Мне же приказано оставаться в своей келье.

— А вы хотели бы войти?

— Да.

— Может быть, вы желаете, чтобы я попросила разрешения у настоятельницы?

— Да.

— Подождите, дорогая моя, я сейчас пойду к ней.

— И вы в самом деле будете просить за меня?

— Конечно. А почему бы мне и не обещать вам этого? И почему бы не исполнить того, что обещала?

— Ах, — сказала она, нежно на меня взглянув, — я ей прощаю — да, я прощаю ей ее склонность к вам; вы наделены всеми достоинствами: изумительной душой и прекрасной наружностью.

Я с радостью готова была оказать ей эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. Другая монахиня за это время заняла мое место на краю кровати; она наклонилась к настоятельнице, оперлась локтем на ее колени и показывала ей свою работу. Настоятельница, полузакрыв глаза, отвечала ей «да» и «нет», почти не глядя на нее. Она меня не заметила, хотя я стояла рядом. Мысли ее где-то витали. Однако вскоре она очнулась. Монахиня, занимавшая мое место, уступила мне его. Я села и, слегка наклонясь к настоятельнице, которая приподнялась на своих подушках, молча посмотрела на нее, словно хотела попросить о какой-то милости.

— Ну что, — спросила она, — в чем дело, Сюзанна? Что вам нужно? Разве я могу в чем-нибудь

вам отказать?

— Сестра Тереза…

— Понимаю. Я очень недовольна ею, но сестра Сюзанна просит за нее, и я ее прощаю. Скажите, что она может войти.

Я побежала. Бедная сестричка ждала у дверей. Я пригласила ее войти. Она вошла, вся дрожа, с опущенными глазами. В руках она держала длинный кусок кисеи, прикрепленный к выкройке, который она выронила при первых же шагах. Я его подняла, взяла ее под руку и подвела к настоятельнице. Тереза бросилась на колени, схватила руку матушки, поцеловала ее, вздыхая, со слезами на глазах, потом взяла мою руку, вложила ее в руку настоятельницы и поцеловала обе. Настоятельница знаком позволила ей встать и занять любое место. Тереза воспользовалась ее разрешением. Подали угощение. Настоятельница встала с кровати, но не села с нами; она прохаживалась вокруг стола, клала руку на голову одной сестры, слегка ее запрокидывала и целовала в лоб; приподнимала нагрудник у другой, проводила ладонью по ее шее и несколько минут стояла позади нее, облокотясь на спинку кресла; переходила к третьей, гладила ее или подносила руку к ее губам. Едва прикасаясь к поданным

сладостям, она угощала ими то одну, то другую. Обойдя таким образом весь стол, она остановилась рядом со мной и посмотрела на меня очень ласково и нежно. Остальные монахини, особенно сестра Тереза, потупили взор, словно боясь ее стеснить или отвлечь ее внимание. Когда покончили с угощением, я села за клавесин и стала аккомпанировать двум сестрам, которые пели очень недурно, со вкусом, не фальшивя, хотя у них и не было школы. Я тоже пела, аккомпанируя себе. Настоятельница села сбоку у клавесина; казалось, ей доставляло величайшее удовольствие слушать меня и смотреть на меня. Некоторые слушали стоя, ничего не делая, другие снова принялись за работу. Это был восхитительный вечер. После музыки все разошлись.

Я хотела уйти вместе с другими, но настоятельница остановила меня.

— Который час? — спросила она.

— Около шести.

— Сейчас ко мне зайдут некоторые монахини из нашего монастырского совета. Я обдумала то, что вы мне рассказали о вашем уходе из лоншанского монастыря, и сообщила им мое мнение. Они согласились со мной, и мы хотим обратиться к вам с одним предложением. Мы, безусловно,

добьемся успеха, и это принесет кое-какие блага монастырю, да и вы не останетесь в убытке…

В шесть часов пришли члены монастырского совета; он состоит обычно из очень старых, совсем дряхлых монахинь. Я встала, они уселись, и настоятельница обратилась ко мне:

— Не говорили ли вы мне, сестра Сюзанна, что вкладом, внесенным в наш монастырь, вы обязаны щедрости господина Манури?

— Совершенно верно, матушка.

— Значит, я не ошиблась, и сестры из лоншанского монастыря продолжают владеть вкладом, внесенным вами в их обитель?

— Да, матушка.

— Они ничего вам не вернули?

— Ничего, матушка.

— Они вам не назначили никакой ренты?

— Никакой, матушка.

— Это несправедливо, о чем я и сообщила членам монастырского совета, и они полагают, так же как и я, что вы вправе предъявить лоншанским сестрам иск. Они должны либо передать этот вклад нашему монастырю, либо назначить вам соответствующую ренту. Средства, предоставленные вам господином Манури, который принял участие в вашей судьбе, не имеют ника-

кого отношения к долгу лоншанских сестер, и не в их интересах он действовал, внося за вас вклад.

— Я тоже так думаю, но, чтобы в этом убедиться, самое простое было бы ему написать.

— Безусловно, и в случае, если он ответит в желательном для нас смысле, мы намерены сделать вам следующее предложение: мы предъявим от вашего имени иск к лоншанскому монастырю, примем на наш счет все издержки; они будут не очень велики — ведь, по всей вероятности, господин Манури не откажется взять на себя ведение дела. Если мы выиграем процесс, наш монастырь поделит с вами пополам самый вклад или ренту. Как вы на это смотрите, дорогая сестра? Вы не отвечаете? О чем вы задумались?

— Я думаю о том, что лоншанские сестры причинили мне много зла, и я была бы просто в отчаянии, если бы они вообразили, что я им мщу.

— Дело тут не в мести, а в том, чтобы потребовать от них то, что они вам должны.

— Еще раз привлечь к себе общее внимание!

— Об этом нечего беспокоиться: о вас почти не будет и речи. К тому же наша община бедна, а лоншанская богата. Вы будете нашей благодетельницей, по крайней мере, пока вы живы.

Конечно, мы постараемся заботиться о вашем здоровье не из этих побуждений, мы все вас любим…

И все монахини разом воскликнули:

— Как можно ее не любить? Она — само совершенство!

— Я могу в любую минуту умереть, а моя преемница, возможно, не будет питать к вам таких чувств, как я. О нет, она, конечно, не будет питать их! Вы можете почувствовать недомогание, у вас могут возникнуть какие-нибудь потребности; ведь так приятно располагать небольшими деньгами, чтобы облегчить жизнь себе и помочь другим.

— Дорогие матери, — сказала я, — этими соображениями нельзя пренебречь, раз они исходят от вас, но есть и другие, для меня более существенные. Впрочем, какое бы отвращение во мне это ни вызывало, я готова всем поступиться ради вас. Единственная милость, о которой я прошу вас, матушка, — это ничего не предпринимать, не посоветовавшись в моем присутствии с господином Манури.

— Что ж, это вполне уместно. Вы хотите ему написать сами?

— Как вам будет угодно, матушка.

— Напишите, и, чтобы не возвращаться к этому вопросу дважды, ибо я не выношу такого рода дел, они мне страшно надоели, напишите ему сейчас же!

Мне дали перо, чернил и бумаги, и я тут же написала г-ну Манури, что прошу его оказать мне любезность и прибыть в монастырь, как только он будет располагать временем, что я опять нуждаюсь в его помощи и указаниях по важному делу. Совет заслушал это письмо, одобрил его, и оно было послано.

Господин Манури приехал через несколько дней. Настоятельница изложила ему суть дела, и он, ни минуты не колеблясь, присоединился к ее мнению. Моя щепетильность была признана нелепой. Было решено на следующий же день возбудить дело против лоншанского монастыря. Так и поступили. И вот, против моей воли, имя мое вновь стало упоминаться в прошениях, в докладных записках, на судебных заседаниях, и притом еще с добавлением таких подробностей, таких клеветнических измышлений, такой лжи и мерзости, какие только можно придумать, чтобы очернить человека в глазах его судей и вооружить против него общественное мнение.

Ах, господин маркиз, разве дозволено адвока-

там клеветать, сколько им вздумается? Разве это должно оставаться безнаказанным? Если б я могла предвидеть все огорчения, какие мне принесло это дело, уверяю вас, что я никогда бы не согласилась возбудить его. Лоншанские сестры дошли до того, что прислали нескольким монахиням нашего монастыря бумаги, оглашенные на суде и направленные против меня. И наши монахини беспрестанно являлись ко мне с расспросами о подробностях возмутительных событий, которые никогда не имели места. Чем больше я обнаруживала неведения, тем больше убеждались в моей виновности. Считали всё истиной, потому что я ничего не объясняла, ни в чем не признавалась и все отрицала. Ехидно улыбались, бросали туманные, но весьма оскорбительные намеки, пожимали плечами, не веря в мою невинность. Я плакала, я была очень удручена.

Но беда никогда не приходит одна. Наступило время исповеди. Я уже рассказала духовнику о ласках, которыми настоятельница осыпала меня в первые дни. Он строго запретил мне допускать их. Но как отказать в том, что доставляет огромное удовольствие человеку, от которого всецело зависишь, если не видишь в этом ничего дурного?

Этот духовник должен играть большую роль в остальной части моих воспоминаний, поэтому мне кажется уместным познакомить вас с ним.

Это францисканец, зовут его отец Лемуан, ему не больше сорока пяти лет. Такое прекрасное лицо, как у него, редко встретишь. Кроткое, ясное, открытое, улыбающееся, приятное, когда он забывает о своем сане; но стоит ему о нем вспомнить, как лоб его покрывается морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят вниз, и он становится суров в обхождении. Я не знаю двух таких различных людей, как отец Лемуан у алтаря и отец Лемуан в приемной, когда он один или когда он в чьем-нибудь обществе.

Впрочем, таковы все, принявшие монашеский обет, и даже я сама неоднократно ловила себя на том, что, направляясь к решетке приемной, я вдруг останавливаюсь, поправляю на себе покрывало, головную повязку, придаю надлежащее выражение лицу, глазам, губам, скрещиваю на груди руки, слежу за своей осанкой, за походкой, напускаю на себя смиренность и держу себя соответствующим образом более или менее долго, в зависимости от того, что за люди мои собеседники.

Отец Лемуан высокого роста, хорошо сложен,

весел и очень любезен, когда не наблюдает за собой. Он очень красноречив. В своем монастыре он считается ученым богословом, а среди мирян — прекрасным проповедником. Он изумительный собеседник; чрезвычайно сведущ во многих, чуждых его званию областях. У него чудесный голос, он знает музыку, историю и языки. Он доктор Сорбонны. Хотя он сравнительно молод, но достиг уже высших степеней в своем ордене. Мне кажется, что он не интриган и не честолюбец. Он любим своими собратьями. Ходатайствуя о назначении настоятелем этампского монастыря, он полагал, что на этом спокойном посту он сможет, ничем не отвлекаясь, погрузиться в начатые им научные исследования. Просьба его была уважена. Выбор духовника — чрезвычайно серьезный вопрос для женского монастыря. Пастырем должен быть человек влиятельный и высоких душевных качеств. Было сделано все возможное, чтобы заполучить отца Лемуана, и это удалось, но только для особо важных случаев.

Накануне больших праздников за ним посылали монастырскую карету, и он приезжал. Нужно было видеть, в какое волнение приходила вся община, ожидая его, как все радовались, как, запершись у себя, готовились к исповеди. Чего

только не придумывали, чтобы удержать его внимание как можно дольше!

Был канун Троицы. Ждали его приезда. Я была сильно встревожена; настоятельница это заметила и стала меня расспрашивать. Я не утаила от нее причину моего волнения. Мне показалось, что она обеспокоена еще больше, чем я, хотя и делала все возможное, чтобы от меня это скрыть. Она назвала отца Лемуана чудаком, посмеялась над моими сомнениями, сказала, что отец Лемуан не может лучше судить о чистоте моих и ее чувств, чем наша совесть, и спросила, могу ли я себя упрекнуть в чем-либо. Я ответила ей отрицательно.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Я ваша настоятельница, вы обязаны повиноваться мне, и я приказываю вам не упоминать ему об этих глупостях. Вам и на исповедь незачем идти, если у вас нечего ему сказать, кроме таких пустяков.

Между тем отец Лемуан приехал, и я все же приготовилась к исповеди; но многие, которым не терпелось поскорей оказаться в исповедальне, опередили меня. Мой черед приближался, когда настоятельница подошла ко мне, отозвала меня в сторону и сказала:

— Сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне

говорили. Возвращайтесь в свою келью, я не хочу, чтобы вы сегодня шли на исповедь.

— Но почему же, матушка? — спросила я. — Завтра большой праздник, в этот день все причащаются. Что подумают обо мне, если я одна не подойду к святому престолу.

— Это не имеет значения, пусть говорят что угодно, но вы ни в коем случае не пойдете к исповеди.

— Матушка, — взмолилась я, — если вы меня действительно любите, не подвергайте меня такому унижению, я прошу вас об этом как о милости.

— Нет, нет, это невозможно, из-за вас у меня будут неприятности с этим человеком, а я этого совсем не желаю.

— Нет, матушка, уверяю вас.

— Обещайте же мне… Да нет, это совсем не нужно. Завтра утром вы придете ко мне и покаетесь. За вами нет такой вины, которую я бы не могла простить сама. Я отпущу вам грехи, и вы будете причащаться вместе со всеми сестрами. Ступайте.

Я ушла к себе и оставалась в своей келье печальная, встревоженная, задумчивая, не зная, на что решиться — пойти ли к отцу Лемуану вопре-

ки желанию настоятельницы, удовлетвориться ли ее отпущением грехов, приобщиться ли завтра святых тайн со всей общиной или же отказаться от причастия, что бы об этом ни говорили. Настоятельница пришла ко мне, побывав на исповеди, после которой отец Лемуан спросил ее, почему меня сегодня не видно, не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но в заключение он сказал, что ждет меня в исповедальне.

— Идите туда, раз это необходимо, — сказала она, — но дайте мне слово молчать.

Я колебалась, она настаивала.

— Да что ты, глупенькая? Что дурного в том, чтобы умолчать о поступках, в которых не было ничего дурного?

— А что дурного, если о них сказать? — спросила я.

— Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, какое значение припишет им этот человек? Дайте мне слово.

Я все еще была в нерешительности; но в конце концов обещала ничего не говорить, если он сам не станет меня спрашивать, и направилась в исповедальню.

Я закончила исповедь и умолкла, но духовник задал мне ряд вопросов, и я ничего не скрыла. Ка-

кие это были странные вопросы! Даже и теперь, когда я о них вспоминаю, они мне совершенно непонятны. Ко мне он отнесся очень снисходительно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что я содрогнулась от ужаса: он называл ее недостойной, распущенной, дурной монахиней, зловредной женщиной с развращенной душой и потребовал, под страхом обвинения в смертном грехе, чтобы я никогда не оставалась с ней наедине и не разрешала ей никаких ласк.

— Но, отец мой, — заметила я, — она ведь моя настоятельница, она может зайти ко мне, позвать к себе, когда ей вздумается.

— Я это знаю, хорошо знаю и очень скорблю об этом, дорогое дитя, — сказал он. — Хвала господу, до сих пор охранявшему вас от греха! Не дерзая выразиться более ясно — из боязни самому стать соучастником вашей недостойной настоятельницы и тлетворным дыханием, которое помимо моей воли исторгнут мои уста, смять нежный цветок, оставшийся свежим и незапятнанным лишь потому, что вас хранило до сих пор провидение, — я приказываю вам бежать от вашей настоятельницы, отвергать ее ласки, никогда не входить к ней, если она одна, не пускать ее к себе, особенно ночью; соскочить с постели, если она

войдет наперекор вашей воле, выйти в коридор, звать на помощь, если это будет необходимо; бежать к подножию алтаря, хотя бы вы были совсем раздеты, своим криком поднять на ноги весь монастырь и сделать все, что любовь к богу, страх смертного греха, святость вашего звания и забота о спасении вашей души внушили бы вам, если бы сам сатана предстал пред вами и преследовал вас. Да, дитя мое, сам сатана, ибо в образе сатаны я вынужден показать вам вашу настоятельницу; она погрязла в бездне греха и увлекает вас за собой, и вас вместе с ней поглотила бы эта бездна, если бы ваша невинность не повергла ее в ужас и не остановила ее.

Потом, возведя глаза к небу, он воскликнул:

— Господи, не оставь своими милостями это дитя… Повторите за мной: *«Satana, vade retro, apage, Satana»*[Сатана, отпусти, отойди, сатана (*лат.*).]. Если эта несчастная станет вас расспрашивать, ничего не утаивайте, передайте ей мои слова, скажите, что лучше, если бы она вовсе не рождалась на свет или наложила на себя руки и низринулась одна в преисподнюю.

— Но, отец мой, — возразила я, — вы ведь сами только что исповедовали ее.

Он мне ничего не ответил, только, тяжко вздох-

нув, оперся руками на перегородку исповедальни и прислонил к ней голову как человек, объятый скорбью. Несколько минут оставался он в таком положении. Я не знала, что думать, колени у меня подгибались, я была в таком смятении, в таком замешательстве, что и представить себе невозможно. Так чувствует себя путник, бредущий во мраке между безднами, скрытыми от его глаз, и потрясенный подземными голосами, кричащими ему со всех сторон: «Ты погиб!»

Потом, взглянув на меня спокойным и растроганным взором, он спросил меня:

— Вы совершенно здоровы?

— Да, отец мой.

— Вас не слишком измучит ночь, проведенная без сна?

— Нет, отец мой.

— Так вот, сегодня вы вовсе не ляжете спать и сразу же после вечерней трапезы пойдете в церковь, падете ниц перед алтарем и всю ночь проведете в молитве. Вы сами не знаете, какой опасности подвергались, — возблагодарите же бога, что он охранил вас от нее. А завтра вы подойдете к святому престолу вместе со всеми сестрами. Я налагаю на вас только одну епитимью — не подпускать к себе близко настоятельницу

и решительно отвергать ее отравленные ласки. Идите. Я, со своей стороны, присоединю свои молитвы к вашим. Как я буду тревожиться за вас! Я понимаю все последствия советов, которые вам даю, но таков мой долг перед вами и перед самим собой. Бог наш владыка, и да свершится воля его!

Я лишь смутно припоминаю, сударь, все, что он мне тогда сказал. Теперь же, сопоставляя его речи в том виде, в каком я передала их вам, с тем страшным впечатлением, которое они на меня тогда произвели, я вижу, насколько несравнимо одно с другим. И это происходит оттого, что изложение мое бессвязно, отрывочно, что многое уже изгладилось теперь из моей памяти, потому что суть его слов осталась для меня неясной, и я не придавала тогда — да и сейчас не придаю — никакого значения тому, на что он обрушивался с такой яростью. Почему, например, сцена у клавесина показалась ему столь странной? Разве нет людей, на которых музыка производит сильнейшее впечатление? Мне самой говорили, что под влиянием некоторых мелодий, некоторых модуляций я совершенно меняюсь в лице: в такие минуты я перестаю владеть собою, почти не сознаю, что со мной происходит. Так разве в этом есть какой-нибудь грех? Почему же это

не могло случиться с моей настоятельницей, которая, несмотря на все ее сумасбродства, всю неровность ее характера, была, конечно, одной из самых чувствительных женщин на свете? Всякий сколько-нибудь трогательный рассказ заставлял ее проливать слезы. Когда я рассказала ей мою жизнь, это привело ее в такое состояние, что на нее было жалко смотреть. Разве ее сострадательность духовник также ставил ей в вину? А ночная сцена… Ее развязки он ожидал в смертельной тревоге… Право, этот человек был слишком строг.

Как бы то ни было, но я в точности выполнила все его предписания, неминуемые последствия которых он, несомненно, предвидел. Выйдя из исповедальни, я сразу же пала ниц перед алтарем. Мысли мои путались от страха. В церкви я оставалась до ужина. Настоятельница, встревоженная моим отсутствием, послала за мной. Ей ответили, что я стою на молитве. Она несколько раз появлялась у дверей церкви, но я делала вид, что не замечаю ее. Зазвонили к ужину. Я пошла в трапезную, наскоро поела и после ужина сразу же вернулась в церковь. Вечером я не появилась в рекреационной зале, не вышла из церкви и тогда, когда наступило время расходиться по кельям

и ложиться спать. Настоятельница знала, где я. Поздней ночью, когда все смолкло в монастыре, она спустилась ко мне. Ее образ, очерченный мне духовником, возник в моем воображении; меня охватила дрожь, я не решалась взглянуть на нее, я боялась, что увижу чудовище, объятое пламенем, и повторяла про себя: *«Satana, vade retro, apage, Satana.* Господи, охрани меня, удали от меня дьявола».

Она преклонила колена и, помолившись, спросила меня:

— Что вы тут делаете, сестра Сюзанна?

— Вы сами видите, сударыня.

— Знаете ли вы, который теперь час?

— Знаю, сударыня.

— Почему вы не вернулись к себе в положенный час отхода ко сну?

— Я хотела приготовиться к завтрашнему великому празднику.

— Значит, вы решили провести здесь всю ночь?

— Да, матушка.

— А кто вам это позволил?

— Это мне приказал духовник.

— Духовник не имеет права давать приказания, противоречащие уставу монастыря. Я вам

приказываю идти спать.

— Сударыня, это епитимья, которую он на меня наложил.

— Вы замените ее другим богоугодным делом.

— Мне не предоставлен выбор.

— Полно, дитя мое, идемте. Ночной холод в церкви повредит вам; вы помолитесь в своей келье.

Она хотела взять меня за руку, но я отскочила в сторону.

— Вы бежите от меня? — спросила она.

— Да, матушка, я бегу от вас.

Святость места, близость бога, невинность моей души придали мне смелости, я решилась поднять на нее глаза, но, как только увидела ее, громко вскрикнула и побежала по церкви как безумная, крича: «Отыди, сатана!»

Она не пошла за мной, не двинулась с места, только кротко протянула ко мне руки и трогательным, нежным голосом проговорила:

— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь. Я не сатана, я ваша настоятельница, ваш друг…

Я остановилась, еще раз повернула к ней голову и убедилась, что была напугана причудливым образом, созданным моим воображением: свет церковной лампады падал только на кончики

пальцев настоятельницы, остальное же было в тени, и именно это произвело на меня такое страшное впечатление. Немного придя в себя, я бросилась на заалтарную скамью. Она приблизилась ко мне и хотела сесть рядом, но я вскочила и поднялась в верхний ряд скамей. Так, преследуемая ею, я перебегала с одного места на другое, пока не оказалась у самого крайнего сиденья. Здесь я остановилась и начала молить ее оставить хоть одно свободное сиденье между нами.

— Хорошо, я согласна, — сказала она.

Итак, мы обе сели; нас разделяло одно сиденье. Тогда настоятельница обратилась ко мне:

— Можно ли узнать, сестра Сюзанна, почему мое присутствие приводит вас в такой ужас?

— Матушка, простите меня, — ответила я, — но я тут ни при чем, это исходит от отца Лемуана. Он изобразил мне нежные чувства, которые вы ко мне питаете, ваши ласки, в которых, должна признаться, я не вижу ничего дурного, в самых ужасающих красках. Он приказал мне избегать вас, не входить одной к вам в келью, покидать свою, если вы зайдете ко мне; он обрисовал вас истинным демоном. Всего не перескажешь, что он мне говорил по этому поводу.

— Значит, вы ему рассказали?

— Нет, матушка, но я не могла уклониться от ответа, когда он сам стал меня спрашивать.

— И я стала чудовищем в ваших глазах?

— Нет, матушка, я не могу перестать любить вас, не могу не ценить вашей доброты ко мне и прошу не лишать меня ее и в дальнейшем, но я буду повиноваться моему духовнику.

— И вы больше не будете заходить ко мне?

— Нет, матушка.

— И не позволите мне навещать вас?

— Нет, матушка.

— Вы отвергнете мои ласки?

— Мне это будет нелегко, потому что я по природе ласкова и ценю всякую ласку, однако придется. Я обещала это моему духовнику и поклялась у алтаря. Если б я могла передать, в каких выражениях он говорил о вас! Это человек благочестивый и просвещенный. Ради чего он станет указывать на опасность там, где ее вовсе нет? Ради чего станет отдалять сердце монахини от сердца ее настоятельницы? Но, должно быть, он видит в самых невинных поступках, моих и ваших, зерно тайной развращенности, которое, по его мнению, созрело в вас и грозит под вашим влиянием развиться во мне. Не скрою от вас, что, припоминая ощущения, которые иногда возни-

кали у меня… Отчего, матушка, расставшись с вами и вернувшись к себе, я бывала взволнованна и рассеянна? Отчего я не могла ни молиться, ни заняться каким-нибудь делом? Отчего какая-то странная, никогда не испытанная тоска овладевала мною? Почему меня клонило ко сну? Ведь я никогда не сплю днем. Я думала, что вы подвержены какой-то заразительной болезни, которая начала передаваться и мне, но отец Лемуан смотрит на это совсем иначе.

— Как же он смотрит на это?

— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Разве я могу разобраться в этом?

— Полноте, — сказала она, — ваш отец Лемуан просто фантазер. Я уже не раз подвергалась таким нападкам с его стороны. Стоит мне только нежно привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней дружеское расположение, как он тут же старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до безумия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать. Я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет за десять лье отсюда. Очень затруднительно посылать за ним; его никогда нет, когда он нужен. Но об этом мы поговорим в более подходящем месте. Вы, значит, не хотите

подняться к себе?

— Нет, матушка, умоляю вас разрешить мне остаться здесь всю ночь. Если я не выполню свой долг, то не осмелюсь завтра приобщиться святых тайн со всей общиной. А вы, матушка, вы будете причащаться?

— Конечно.

— Значит, отец Лемуан ничего вам не сказал?

— Ничего.

— Почему же?

— Да потому, что у него не было повода говорить со мной об этом. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не нахожу ничего грешного в моей любви к такому прелестному ребенку, как сестра Сюзанна. Если я в чем-нибудь виновата, то только в том, что все свои чувства сосредоточила на ней одной, а должна была бы изливать их на всех без исключения сестер общины. Но это от меня не зависит, я не могу запретить себе видеть достоинства там, где они есть, и оказывать им предпочтение. Я прошу за это прощения у господа и не понимаю, почему ваш отец Лемуан решил, что я бесповоротно проклята богом за вполне естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься. Я стараюсь обеспечить счастье всех сестер, но есть такие,

которых я больше уважаю и люблю, чем других, потому что они более достойны любви и уважения. Вот и весь мой грех. Вы находите, что он очень велик, сестра Сюзанна?

— Нет, матушка.

— Ну тогда, дорогое дитя, прочтем каждая коротенькую молитву и подымемся к себе.

Я снова стала умолять ее разрешить мне провести ночь в церкви. Она согласилась с условием, что это больше не повторится, и ушла.

Я стала припоминать ее слова и просила господа просветить меня. Я крепко задумалась и, тщательно все взвесив, пришла к выводу, что люди, хотя и принадлежащие к одному полу, могут не совсем пристойно проявлять свои симпатии друг к другу, что отец Лемуан, человек непреклонных правил, возможно, допустил некоторое преувеличение, но что его совету избегать чрезмерной близости со стороны настоятельницы и самой проявлять большую сдержанность необходимо следовать — и я дала себе в этом слово.

Утром, когда все монахини собрались в церкви, они застали меня на моем обычном месте. Они все приблизились к святому престолу во главе с настоятельницей, что окончательно убедило меня в ее невинности, не поколебав, однако, принятого

мною решения. К тому же она привлекала меня в гораздо меньшей степени, чем я ее. Я не могла не сравнивать ее с моей первой настоятельницей. Какая разница между ними в отношении благочестия, серьезности, достоинства, ревностного исполнения долга, в отношении ума и любви к порядку!

За несколько следующих дней произошли два крупных события: первое — то, что я выиграла процесс против лоншанских монахинь, которых суд обязал выплачивать монастырю Св. Евтропии, где я находилась, ежегодную ренту в соответствии с моим вкладом. Вторым событием была смена духовника. Об этом мне сообщила сама настоятельница.

Тем не менее я бывала теперь у нее только в сопровождении какой-нибудь монахини, и она тоже больше не приходила ко мне одна. Она постоянно искала меня, но я ее избегала. Она это заметила и упрекала меня. Не знаю, что творилось в этой душе, но, по всей вероятности, что-то необыкновенное. Она вставала ночью и бродила по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, жалобно стонала и вздыхала. Я вся дрожала и забивалась поглубже в постель.

Днем, где бы я ни находилась — на прогулке, в мастерской или в рекреационной зале, — она украдкой целыми часами пристально смотрела на меня, стараясь, чтобы я ее не заметила.

Она следила за каждым моим шагом. Когда я спускалась, то находила ее у подножия лестницы; когда поднималась, она ожидала меня наверху. Однажды она остановила меня, долго смотрела, не произнося ни слова, и слезы ручьем катились из ее глаз. Вдруг, бросившись наземь, сжимая руками мои колени, она воскликнула:

— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам ее тебе, но только не избегай меня. Без тебя я не могу больше жить!..

У нее был такой вид, что мне стало жаль ее. Глаза ее погасли, она исхудала и побледнела. Это была моя настоятельница, и она была у моих ног. Она обнимала мои колени, прижималась к ним головой. Я протянула к ней руки, она схватила их и с жаром поцеловала, потом опять стала смотреть на меня. Я подняла ее. Она шаталась, ноги отказывались ей служить. Я проводила ее до кельи. Когда я открыла ей дверь, она взяла меня за руку и молча, не глядя на меня, тихонько потянула за собой.

— Нет, матушка, — сказала я ей, — я дала себе

слово. Так лучше и для вас, и для меня. Я занимаю слишком большое место в вашей душе, оно потеряно для бога, а в ней должен царить он один.

— Вам ли упрекать меня в этом?..

Говоря с ней, я старалась высвободить свою руку.

— Значит, вы не зайдете?

— Нет, матушка, нет.

— Вы отказываетесь, сестра Сюзанна? Вы не знаете, к каким это может привести последствиям, — нет, вы этого не знаете! Я умру из-за вас...

Последние слова возбудили во мне чувства, совершенно противоположные тем, на которые она рассчитывала. Я вырвала свою руку и убежала. Она обернулась, посмотрела мне вслед, потом возвратилась в свою келью, дверь которой оставалась открытой; раздались раздирающие душу стоны. Я их услышала. Они глубоко меня тронули. Минуту я колебалась, не зная, на что решиться — уйти или вернуться к ней. Однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя мне и больно было оставлять ее в таком состоянии: ведь по природе я очень отзывчива. Я заперлась в своей келье, мне было не по себе, я исходила ее вдоль и поперек, смущенная, растерянная, не зная, чем заняться. Я вышла,

снова вернулась в келью и наконец решила постучаться к сестре Терезе, моей соседке. Она была поглощена беседой с другой молоденькой монахиней, своей подругой.

— Сестрица, — обратилась я к ней, — я очень сожалею, что приходится прервать вас, но прошу уделить мне несколько минут, мне нужно кое-что сказать вам.

Она последовала за мной в мою келью.

— Не знаю, что с нашей матерью-настоятельницей, — сказала я ей, — но она очень сокрушается. Пойдите к ней; быть может, вы ее утешите…

Тереза ничего мне не ответила, оставила подругу у себя в келье, закрыла за собой дверь и побежала к настоятельнице.

Между тем состояние этой женщины ухудшалось со дня на день; она стала задумчивой и печальной. Веселью, не прекращавшемуся со дня моего прибытия в монастырь, сразу наступил конец. Все подчинилось самому строгому порядку: церковные службы совершались с подобающей торжественностью, посетители почти не допускались в приемную, монахиням запретили посещать друг друга; обряды выполнялись с самой неукоснительной точностью; монахини больше не собирались у настоятельницы, не

лакомились у нее. Малейшие проступки сурово карались. Иногда кое-кто еще обращался ко мне, чтобы добиться прощения, но я наотрез отказывалась вступаться за провинившихся. Причина этой резкой перемены ни для кого не составляла тайны; старые монахини об этом не жалели, но молодые были в отчаянии. Они стали относиться ко мне враждебно, но я, убежденная в своей правоте, не обращала внимания на их недовольство и упреки.

Что касается настоятельницы, страданий которой я не могла облегчить, хотя всем сердцем ее жалела, то она от меланхолии перешла к благочестию, а от благочестия к исступлению. Не стану описывать все перипетии ее болезненного состояния — я потонула бы в бесконечных подробностях. Скажу только, что в начале своей болезни она то искала, то избегала меня. Иногда она относилась ко мне и к остальным с привычной ей мягкостью, иногда же внезапно переходила к безграничной строгости; она вызывала нас к себе и тотчас отсылала обратно; предоставляла досуг, а минутой позже отменяла свои распоряжения, вызывала нас в церковь, и когда все, повинуясь ей, приходило в движение, снова ударял колокол, приглашая нас разойтись

по кельям. Трудно представить себе царивший у нас хаос: день проходил в том, что мы то покидали свои кельи, то возвращались в них, то брались за требник, то откладывали его в сторону, ходили по лестницам вверх и вниз, опускали и поднимали покрывала. Ночь была почти такой же беспокойной, как день.

Некоторые монахини обращались ко мне и намекали на то, что при большей снисходительности и внимании к настоятельнице с моей стороны все вернется к обычному порядку, следовало бы сказать — к обычному беспорядку.

Я же с грустью им отвечала:

— Мне от души жаль вас, но скажите ясно, что я должна делать.

Одни из них отходили, опустив голову и не отвечая, другие давали мне советы, которые полностью противоречили советам духовника. Я говорю о том, которого сместили; что касается его преемника, то он еще не появлялся у нас.

Настоятельница не выходила больше по ночам. Она заперлась у себя и неделями не показывалась ни на богослужении, ни в трапезной, ни в рекреационной зале. Иногда же она бродила по коридорам или спускалась в церковь, стучала в двери к монахиням и жалобным голосом просила

каждую:

— Милая сестра, помолитесь за меня…

Распространился слух, что она готовится к публичному покаянию.

Однажды, сойдя первой в церковь, я увидела листок бумаги, прикрепленный к занавесу у решетки. Я приблизилась и прочла: «Дорогие сестры, молитесь за заблудшую монахиню, которая забыла свой долг и теперь хочет вернуться к богу…»

Я хотела было сорвать листок, но не тронула его. Несколько дней спустя появился другой листок, на котором значилось: «Дорогие сестры, призовите милосердие божие на монахиню, сознавшую свои заблуждения. Они велики…»

Затем появился еще призыв, гласивший: «Дорогие сестры, молите господа спасти от отчаяния монахиню, потерявшую веру в милосердие божие…»

Все эти призывы, отражавшие тяжелые муки этой мятущейся души, глубоко меня опечалили. Случилось однажды, что я как вкопанная остановилась у одного из этих воззваний, стараясь понять, в каких это заблуждениях она себя винит, почему эту женщину обуял такой страх, в каких грехах она себя укоряет. Я вспоминала негоду-

ющие восклицания духовника, его выражения, стараясь уяснить себе их смысл, но мне это не удавалось, и я застыла на месте, поглощенная своими мыслями. Несколько монахинь смотрели на меня, переговариваясь между собой, и, кажется, думали, что и мне грозят те же ужасы.

Несчастная настоятельница появлялась теперь только с опущенным покрывалом. Она больше не вмешивалась в дела монастыря, ни с кем не говорила и часто совещалась с новым духовником, которого к нам назначили. Это был молодой бенедиктинец. Не знаю, он ли потребовал от нее тех истязаний плоти, которым она себя подвергала: она постилась три раза в неделю, бичевала себя, присутствовала на богослужении, сидя на самом дальнем месте. Отправляясь в церковь, мы проходили мимо ее дверей и заставали ее на пороге простертой ниц; она поднималась только тогда, когда все удалялись. Ночью она выходила из кельи в одной рубашке, босая. Если сестра Тереза или я случайно встречали ее, она отворачивалась и прижималась лицом к стене. Однажды, выйдя из своей кельи, я нашла ее лежащей ничком на полу, с раскинутыми руками.

— Идите, идите, шагайте по мне, — простонала она, — топчите меня ногами, я не заслуживаю

ничего другого.

В течение ряда месяцев тянулась эта болезнь, и вся община успела за это время настрадаться и возненавидеть меня. Я не стану перечислять все огорчения, которые выпадают на долю монахини, возбудившей ненависть своего монастыря; теперь они уже хорошо известны вам. Мало-помалу я снова стала испытывать отвращение к моему званию. Ничего не скрывая, я поведала о своем отвращении и своих горестях новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это человек с пламенной душой; ему около сорока лет. Он выслушал меня с видимым интересом и вниманием; пожелал узнать всю историю моей жизни, заставил рассказать с мельчайшими подробностями о моей семье, моих склонностях, характере, о монастырях, где я раньше была, и о монастыре, в котором я находилась сейчас, о том, что произошло между настоятельницей и мною. Я ничего от него не утаила. По-видимому, он не придал поведению моей настоятельницы по отношению ко мне такого значения, как отец Лемуан. По этому поводу он обронил лишь несколько слов. Он считал все это конченым навсегда. Особенно интересовался он моей затаенной неприязнью к монастырской жизни. По мере того как я раскрывала свою душу,

его доверие ко мне возрастало. Если я исповедовалась ему, то и он полностью мне открылся. Его горести, о которых он мне рассказал, в точности совпадали с моими: он принял обет вопреки своей воле, он относился к своему сану с таким же отвращением и был достоин жалости не менее, чем я.

— Но как этому помочь, дорогая сестра? — добавил он. — Есть только одно средство — стараться облегчить наше положение, насколько это возможно.

Затем он сделал мне несколько наставлений, которыми руководствовался сам. Они были весьма мудры.

— Разумеется, — сказал он, — таким образом мы не избежим страданий, но все это укрепит в нас решимость переносить их. Люди, принявшие обет монашества, счастливы, если их крест кажется им заслугою перед богом. Тогда они радостно несут его; они сами идут навстречу тяжким испытаниям и тем более счастливы, чем горше и чаще эти испытания. Они как бы меняют счастье настоящего на счастье в будущем. Они обеспечивают себе блаженство на небесах, добровольно жертвуя счастьем на земле. После тяжких страданий они опять просят бога:

«*Amplius, Domine!* Господи, усугуби наши муки!..» И эта мольба никогда не остается втуне. Но если такие страдания приходится претерпевать мне или вам, мы не можем ждать той же награды, у нас нет того, что только и придает им цену, — нет смирения. Это очень печально. Увы! Как могу я вдохнуть в вас добродетель, которой вы лишены, если ее недостает и мне? А без этого нам грозит погибель в будущей жизни после всех несчастий, испытанных в жизни земной. Среди нескончаемых молитв и покаяний мы почти с той же вероятностью осуждены на вечные муки, как и миряне, погрязшие в наслаждениях. Мы отреклись от земных радостей, они же ими пользуются. И после такой жизни нас ждут те же муки. Сколь прискорбно быть монахом или монахиней, не имея к тому призвания! А между тем такова наша участь и мы не можем ее изменить. На нас наложили тяжелые цепи, и мы осуждены потрясать ими без всякой надежды их порвать. Будем же стараться, дорогая сестра, влачить их и дальше. Идите, я еще приеду повидаться с вами…

Спустя несколько дней он снова приехал. Я встретилась с ним в приемной и поближе к нему присмотрелась. Он закончил рассказ о своей жизни, я — о своей. Бесконечное множество

обстоятельств сближало нас и говорило о сходстве моей и его судьбы. Он подвергался почти таким же гонениям и в родительском доме, и в монастыре. Я не отдавала себе отчета, насколько описание его глубокой неудовлетворенности было малопригодно, чтобы рассеять те же чувства во мне самой; тем не менее его рассказ произвел на меня именно такое действие. Мне кажется, что описание моего отвращения к монашеству подействовало и на него таким же образом. Наши характеры были столь же схожи, как и события нашей жизни. Чем чаще мы виделись, тем более усиливалась наша взаимная симпатия. Все превратности его судьбы совпадали с моими, история его переживаний совпадала с тем, что пережила я, история его души была историей моей души.

Наговорившись о себе, мы стали беседовать о других лицах, особенно о настоятельнице. Положение духовника обязывало его к большой сдержанности; тем не менее мне удалось понять из его слов, что теперешнее состояние этой несчастной женщины не может тянуться долго, что она борется с собой, но тщетно, и что неминуемо случится одно из двух — либо она вернется к своим прежним склонностям, либо сойдет с ума.

Любопытство мое было сильно возбуждено, мне хотелось узнать об этом побольше. Он мог бы разъяснить вопросы, которые у меня возникали и на которые я не находила ответа, но я не решалась задать их ему; я только набралась смелости и спросила, знаком ли он с отцом Лемуаном.

— Да, — ответил он. — Я знаком с ним; это достойный человек, очень достойный.

— Он неожиданно покинул нас.

— Знаю.

— Не можете ли вы сказать мне, почему это произошло?

— Мне было бы неприятно, если бы это получило огласку.

— Вы можете рассчитывать на мою скромность.

— На него подали жалобу архиепископу.

— Что же могли поставить ему в вину?

— Что он живет слишком далеко от монастыря и когда бывает нужен, то его нет на месте; что он придерживается слишком строгой морали; что есть основания подозревать его в том, что он сторонник новых течений; что он сеет раздор в монастыре; что он старается духовно отдалить монахинь от их настоятельницы.

— Откуда вы это знаете?

— От него самого.

— Значит, вы с ним встречаетесь?

— Встречаюсь, и он неоднократно говорил мне о вас.

— Что же он вам говорил?

— Что вы достойны жалости, что он не может понять, как вы смогли перенести все те страдания, которые выпали на вашу долю. Хотя он имел возможность только один или два раза беседовать с вами, он не считает вас способной примириться с монастырской жизнью, и у него явилась мысль…

Тут он вдруг замолчал. Я спросила:

— Какая же мысль?

— Это большой секрет, — ответил мне отец Морель, — и я не могу передать его вам.

Я не настаивала.

— Ведь это отец Лемуан, — добавила я, — приказал мне держаться подальше от настоятельницы.

— И хорошо сделал.

— Почему?

— Сестра моя, — ответил он, и лицо его стало суровым, — придерживайтесь его советов и старайтесь всю жизнь оставаться в неведении относительно того, чем они вызваны.

— Но, мне кажется, если бы я знала, в чем заключается опасность, то проявила бы особенную осторожность, чтобы ее избежать.

— И, быть может, получилось бы как раз обратное.

— По-видимому, вы обо мне дурного мнения.

— О вашей нравственности и о вашей душевной чистоте я придерживаюсь того мнения, которого вы заслуживаете. Но, поверьте, есть пагубные знания, которые нельзя приобрести, не утратив самого ценного. Именно ваша невинность остановила настоятельницу. Будь вы более сведущи, она бы меньше вас щадила.

— Я не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Но разве близость и ласки одной женщины могут представлять опасность для другой?

Ответа не последовало.

— Разве я уже не та, какою была в тот день, когда вступила в этот монастырь?

Отец Морель снова промолчал.

— Разве я перестану быть такой же в дальнейшем? Что дурного в том, чтобы любить друг друга, говорить об этой любви и выказывать ее? Это так сладостно!

— Вы правы, — сказал отец Морель, подняв на

меня глаза, которые он держал опущенными в то время, как я говорила.

— Так, значит, в монастырях это случается часто? Бедная моя настоятельница, до какого состояния она дошла!

— Состояние ее плачевно, и я боюсь, что оно еще ухудшится. Она не создана для монашеского звания. Вот что случается рано или поздно, когда противодействуешь своим естественным склонностям; такая ломка человеческой природы приводит к извращенным страстям, тем более необузданным, чем более они противоестественны. Это своего рода безумие.

— Так она безумна?

— Да, она безумна, и это безумие будет усиливаться.

— И вы полагаете, что такая участь ждет всех, кто принял обет вопреки своему призванию?

— Нет, не всех; есть такие, которые умирают, не дожив до этого. У некоторых такой податливый характер, что в конце концов они приспосабливаются; смутные надежды некоторое время поддерживают иных.

— Какие же надежды могут быть у монахинь?

— Какие? Да прежде всего надежда расторгнуть свой обет!

— А если такой надежды уже нет?

— Ну, тогда остается надежда на то, что ворота монастыря когда-нибудь распахнутся, что люди откажутся от безрассудства и перестанут заточать в склеп юные создания, полные жизни; что монастыри будут упразднены; что в обители вспыхнет пожар, что стены темницы падут; что кто-нибудь придет на помощь. Такие мысли роятся в голове, их обсуждают; в саду на прогулке, не отдавая себе отчета, затворницы смотрят, очень ли высоки стены; находясь в своей келье, они берутся за перекладины оконной решетки и без определенной цели тихонько расшатывают их; если окна выходят на улицу, они смотрят туда, если слышатся чьи-либо шаги, сердце начинает трепетать. В тайниках души монахини вздыхают по избавителю; если поднимается переполох и шум от него доносится до монастыря, у них рождаются какие-то надежды; они рассчитывают на болезнь, которая позволит приблизиться мужчине или же создаст возможность поехать на воды.

— Да, правда, правда! — воскликнула я. — Вы читаете в глубине моей души. Я питала, я еще питаю такие иллюзии.

— А когда, поразмыслив хорошенько, они

утрачивают эти иллюзии — ибо благотворное опьянение, которым сердце туманит разум, время от времени рассеивается, — тогда они видят всю глубину своего несчастья, начинают ненавидеть себя, ненавидеть других, плачут, стонут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Одни монахини бросаются тогда к своей настоятельнице, припадают к ее коленям и ищут у нее утешения; другие простираются ниц в своей келье или перед алтарем и призывают на помощь небо; третьи рвут на себе волосы и раздирают одежды; четвертые ищут глубокий колодец, высокие окна, петлю и иногда их находят; пятые, промучившись долгое время, теряют человеческий образ и подобие и навсегда остаются слабоумными; иные же, болезненные и хрупкие, томятся и чахнут; у некоторых мутится разум, и они впадают в бешенство. Наиболее счастливые — это те, которые способны воскрешать в себе свои прежние утешительные иллюзии и лелеять их почти до самой могилы: жизнь этих монахинь проходит в смене заблуждений и отчаяния.

— А самые несчастные, — добавила я, тяжело вздыхая, — это те, которые последовательно переживают все эти состояния. Ах, отец мой, на свое горе я слушала вас! — Почему же?

— Я не знала себя; теперь я себя знаю, мои иллюзии скорее исчезнут. В минуты…

Я собиралась продолжить, но тут вошла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая, шестая — уж не знаю, сколько их собралось. Разговор стал общим. Одни смотрели на духовника, другие слушали его молча, потупив взор, многие, перебивая друг друга, засыпали его вопросами; все восторгались мудростью его ответов, я же забилась в угол и впала в глубокое раздумье. Посреди этих разговоров, во время которых каждая из сестер старалась выказать себя с наилучшей стороны и тем привлечь к себе внимание святого отца, послышались чьи-то шаги: кто-то медленно приближался, останавливаясь на пути и тяжело вздыхая. Все прислушались, и несколько монахинь прошептали:

— Это она, это наша настоятельница.

Все смолкли и уселись в кружок. Это в самом деле была наша настоятельница. Она вошла. Ее покрывало спадало до пояса, руки были скрещены на груди, голова опущена.

Прежде всего она заметила меня, сразу же высвободила из-под покрывала одну руку, закрыла ею глаза и, слегка отвернувшись, другой рукой сделала всем нам знак удалиться. В полном мол-

чании мы вышли; она же осталась одна с отцом Морелем.

Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе дурное мнение обо мне; но если я не постыдилась совершить поступок, стоит ли краснеть, признаваясь в нем? Да и как пропустить в моем повествовании событие, которое отнюдь не осталось без последствий? Надо сказать поэтому, что у меня очень странный склад ума. Когда я касаюсь вещей, способных вызвать ваше уважение или увеличить ваше сочувствие ко мне, я пишу — хорошо или плохо, но с невероятной быстротой и легкостью, на душе у меня радостно, слов не приходится искать, из глаз текут сладостные слезы, мне кажется, что вы тут, рядом со мной, что я вижу вас и вы меня слушаете. Если же я вынуждена, напротив, показать вам себя в неблагоприятном свете, мысль моя затруднена, я не нахожу нужных выражений, перо еле движется, все это отражается даже на самом почерке, и я продолжаю писать, но втайне надеюсь, что вы не прочтете этих мест. Вот одно из них.

Когда все наши сестры разошлись… «Ну и что же тогда вы сделали?» Вы не догадываетесь? Нет, вы слишком честны для этого. Я спустилась на цыпочках и тихонько встала у дверей приемной,

чтобы услышать их беседу. Это очень дурно, скажете вы… О да, бесспорно, это очень дурно, я сама себе это говорила. И мое смущение, предосторожности, принятые мною, чтобы не быть замеченной, ежеминутные остановки, голос совести, побуждавший меня при каждом моем шаге повернуть обратно, — все не позволяло мне в этом усомниться. Однако любопытство восторжествовало, и я пошла вперед. Но если дурно подслушивать разговор двух лиц, предполагающих, что они одни, то, быть может, еще хуже передавать вам этот разговор. Вот еще одно место из моей исповеди, написанное в надежде на то, что вы его не прочтете. Я знаю, что на это рассчитывать нельзя, но все-таки хочу этому верить.

Первые слова, услышанные мною после довольно долгого молчания, заставили меня содрогнуться. Вот они:

— Отец мой, я проклята богом…

Постепенно я успокоилась и стала слушать. Завеса, которая скрывала нависшую надо мной опасность, разорвалась, но тут меня позвали, пришлось идти, и я ушла. Увы! Я слышала слишком много. Какая женщина, господин маркиз, какая чудовищная женщина!..

На этом воспоминания сестры Сюзанны об-

рываются, и дальше следуют лишь краткие наброски, которые она, по-видимому, собиралась использовать, продолжая свое повествование. Настоятельница, как видно, сошла с ума и ее бедственным положением следует объяснить приводимые мною ниже отрывки.

После исповеди наступило для нас несколько спокойных дней. Радость вернулась в общину. Мне по этому поводу говорили немало лестных слов, которые я с негодованием отвергала.

Настоятельница перестала меня избегать. Она смотрела на меня, и, по-видимому, мое присутствие более не смущало ее. Я же старалась скрыть от нее отвращение, которое она во мне возбуждала с той минуты, когда я, движимая любопытством, к счастью или на беду, ближе ее узнала.

Вскоре она замкнулась в себе, отвечала только «да» и «нет», бродила одна, отказывалась от пищи. Потом пришла в возбужденное состояние, у нее началась лихорадка, за лихорадкой последовал бред.

Когда она лежала в своей постели в полном одиночестве, ей казалось, что она видит меня; она разговаривала со мной, просила подойти ближе, обращалась ко мне с самыми нежными

словами. Заслышав мои шаги около своей кельи, она восклицала:

— Это она проходит мимо! Это ее походка, я узнаю ее. Позовите ее!.. Нет, нет, не надо…

Как ни странно, она никогда при этом не ошибалась, никогда не принимала за меня другую монахиню.

Внезапно она разражалась хохотом, а через мгновение заливалась слезами.

Наши сестры молча стояли вокруг нее; некоторые плакали вместе с нею.

Вдруг она говорила:

— Я не была в церкви, не молилась богу… Я хочу встать с постели, хочу одеться, оденьте меня…

Если ей не позволяли сделать это, она просила:

— Дайте мне хоть мой требник…

Ей давали требник, она раскрывала его, перелистывала страницы и продолжала делать пальцем это движение даже тогда, когда уже не оставалось ни одной страницы; взгляд ее блуждал.

Как-то ночью она одна спустилась в церковь. Несколько сестер побежали за ней. Она простерлась ниц на ступенях алтаря и начала стонать, вздыхать и громко молиться, потом вышла из церкви и снова вернулась.

— Пойдите за ней, — сказала она, — у нее такая

чистая душа! Это такое невинное создание! Если бы она соединила свои молитвы с моими…

Потом, обращаясь ко всей общине и повернувшись к пустым скамьям, она воскликнула:

— Уйдите, уйдите все, пусть она одна останется со мной. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши голоса сольются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы осквернят перед господом сладость ее молитвы. Ступайте, ступайте…

Она заклинала меня просить небо о помощи и прощении. Она видела бога. Ей казалось, что небеса, изборожденные молнией, разверзлись и грохочут над ее головой, разгневанные ангелы спускаются с небес, бог взирает на нее, приводя ее в трепет. Она металась во все стороны, забивалась в темные углы церкви, молила о милосердии; потом прижалась лицом к холодному полу и замерла, охваченная свежестью сырой церкви. Ее, как труп, унесли в келью.

На следующее утро эта страшная ночь полностью изгладилась из ее памяти.

— Где наши сестры? — спросила она. — Я никого не вижу, я осталась одна в монастыре. Все меня покинули, и сестра Тереза тоже. Они правильно поступили. Сестры Сюзанны здесь больше нет, и я могу выйти, я ее больше не встречу. Ах, если бы

ее встретить! Но ее больше здесь нет, не правда ли? Правда, что ее здесь больше нет? Счастлив монастырь, в который она вступила! Она все расскажет своей новой настоятельнице. Что та подумает обо мне? Разве сестра Тереза умерла? Я всю ночь слышала похоронный звон… Бедная девушка. Она погибла навеки, и в этом виновата я! Придет день, и мы встретимся лицом к лицу. Что я скажу ей? Что ей отвечу? Горе ей! Горе мне!

Некоторое время спустя она спросила:

— Наши сестры вернулись? Скажите им, что я очень больна… Приподнимите мою подушку… Расшнуруйте меня. Я чувствую какое-то стеснение в груди… Голова моя в огне… Снимите с меня покрывало… Я хочу умыться… Принесите мне воды. Лейте, лейте еще… Руки у меня белы, но с души пятен не смыть… Я хотела бы умереть, я хотела бы никогда не родиться — я не встретила бы ее.

Однажды утром несчастная в одной рубашке, босая, с растрепанными волосами, испуская вопли, с пеной у рта, стала метаться по своей келье, зажимая руками уши, закрыв глаза и прижимаясь к стенам…

— Отойдите от этой бездны. Слышите вы эти крики? Это ад, из этой пучины поднимается

пламя, я вижу его, из самого огня доносятся невнятные голоса… Они призывают меня… Господи, сжалься надо мной… Бегите, звоните в колокола, созовите всю общину, пусть все молятся за меня, я тоже буду молиться… Но сейчас еще не вполне рассвело, сестры еще спят. Я всю ночь не сомкнула глаз. Я хотела бы уснуть, но не могу.

Одна из наших сестер сказала ей:

— Сударыня, вас что-то мучит. Доверьтесь мне; может быть, вам станет легче.

— Сестра Агата, выслушайте меня, подойдите ко мне… ближе… еще ближе… никто не должен нас слышать. Я вам открою все, но вы должны хранить мою тайну. Вы ее видели?

— Кого, сударыня?

— Ни у кого нет такой кротости, как у нее, не правда ли? Какая у нее походка! Сколько достоинства! Какое благородство! Какая скромность! Пойдите к ней, скажите… Нет, ничего не говорите, не ходите. Вы не сумеете приблизиться к ней, ангелы небесные охраняют ее, стоят, как стража, вокруг. Я видела их, вы их увидите, вы испугаетесь их так же, как испугалась я. Останьтесь… Если вы пойдете, что вы ей скажете? Придумайте что-нибудь такое, от чего бы ей не пришлось краснеть.

— Сударыня, не обратиться ли вам за помощью к духовнику?

— Да, да, конечно… Нет, нет, я знаю, что он мне скажет, я уже столько раз это слышала… О чем я буду говорить с ним?.. Если бы я могла потерять память!.. Если бы могла перейти в небытие или родиться вновь! Не зовите духовника. Лучше почитайте мне о страстях господа нашего Иисуса Христа. Мне становится легче дышать… Нужна только одна капля его крови, чтобы очистить меня от грехов… Видите, как она бьет ключом из его бока?.. Наклоните его святую рану над моей головой… Его кровь течет на меня и уходит, не оставляя следа. Я погибла!.. Уберите от меня распятие… Дайте мне его!..

Ей снова принесли распятие, она сжала его обеими руками и покрыла поцелуями.

— Это ее глаза, ее рот, — бормотала она. — Когда же я снова увижу ее? Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. Хорошенько опишите мое состояние. Скажите ей, что я умираю…

Настоятельнице пускали кровь, делали ей ванны, но болезнь, казалось, лишь усиливалась от всех этих средств. Не смею описать вам все ее непристойные поступки, повторить бесстыдные слова, вырывавшиеся у нее в бреду. Она поми-

нутно подносила руку ко лбу, словно стараясь отогнать какие-то назойливые мысли, какие-то видения; как знать, что это были за видения! Она зарывалась головой в постель, закрывала лицо простынями.

— Это искуситель, — кричала она, — это он! Какой странный облик он принял! Принесите святой воды, окропите меня… Довольно, довольно… Его больше нет.

Вскоре ее стали держать взаперти, но ее темница недостаточно охранялась, и ей удалось вырваться оттуда. Она разодрала свои одежды и бегала по коридорам совсем нагая; только концы разорванной веревки болтались на ее руках.

— Я ваша настоятельница, — кричала она, — вы все мне принесли обет послушания! Повинуйтесь же мне! Вы заперли меня, подлые, вот награда за мои милости! Вы оскорбляете меня, потому что я слишком добра; впредь я не буду такой доброй… Пожар!.. Убивают!.. Грабят!.. На помощь!.. Ко мне, сестра Тереза!.. Ко мне, сестра Сюзанна!..

Но тут ее схватили и снова водворили в ее темницу.

— Вы правы, — говорила она, — увы, вы правы! Я сошла с ума, я это чувствую.

Порой казалось, что ее преследуют картины

различных мук: она видела женщин с веревкой на шее, с руками, связанными за спиной, видела других — с факелом в руке; она была среди тех, которые совершали обряд публичного покаяния; ей представлялось, что ее ведут на казнь, она говорила палачу:

— Я заслужила свою участь, я ее заслужила, я ее заслужила. Ах, если б только эти муки были последними! Но вечно, вечно гореть в огне!..

Все, что я здесь пишу, — все это правда; а то, что я могла бы сказать еще, не уклоняясь от истины, либо выпало из моей памяти, либо заставило бы меня покраснеть, запятнав грязью эти страницы.

Прожив в таком плачевном состоянии еще несколько месяцев, настоятельница умерла. Какая смерть, господин маркиз! Я видела ее в последний час, видела эту страшную картину отчаяния и греха. Ей чудилось, что духи ада окружают ее, что они готовятся овладеть ее душой.

— Вот они, вот они, — говорила она глухим голосом, обороняясь от них распятием, которое она держала в руке, и размахивая им направо и налево. Она выла, она кричала: — Господи, господи!..

Сестра Тереза вскоре последовала за ней. Нам назначили новую настоятельницу — старую, угрюмую и суеверную.

Меня обвиняют в том, что я околдовала ее предшественницу. Настоятельница этому верит, и мои горести возобновляются. Новый духовник также подвергается гонениям со стороны церковных властей и убеждает меня бежать из монастыря.



Мой побег решен. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи я выхожу в сад. Мне бросают веревки, я обвязываюсь ими, они рвутся,

я падаю. У меня все ноги в ссадинах и сильно ушиблена поясница. Вторая, третья попытка; меня поднимают на стену; я спускаюсь вниз. Каково же мое изумление, когда вместо дилижанса, в котором мне должно было быть предоставлено место, я увидела скверную извозчичью карету. И вот я по дороге в Париж с молодым бенедиктинцем. Я не замедлила убедиться по его непристойному тону, по допускаемым им вольностям, что нарушены все условия, о которых мы договорились. Тогда я пожалела о своей келье и поняла весь ужас своего положения.

Тут я опишу сцену в карете. Какая сцена! Что за человек! Я кричу. Извозчик вступается за меня. Ожесточенная борьба между извозчиком и монахом.

Приезжаю в Париж. Извозчик останавливается на маленькой улице, перед узкой дверью, которая ведет в темные и грязные сени. Хозяйка этого жилья выходит мне навстречу и помещает меня на самом верху, в скудно обставленной комнатушке. Ко мне заходит женщина, занимающая второй этаж.

— Вы молоды, вам, должно быть, скучно, мадемуазель. Спуститесь ко мне, у меня вы найдете

приятное общество, мужчин и женщин. Не все дамы так прелестны, как вы, но почти все так же молоды. Мы веселимся на все лады, болтаем, играем, пьем, танцуем. Если вы вскружите головы всем кавалерам, клянусь вам, что дамы нисколько не рассердятся и не станут к вам ревновать. Приходите, мадемуазель…

Все это говорила особа средних лет с умильным взглядом, слащавым голосом и очень вкрадчивой речью.

Две недели пробыла я в этом доме, подвергаясь преследованиям вероломного монаха, похитившего меня, страдая от бурных сцен, происходивших в этом подозрительном месте, и выжидая удобной минуты для побега.

Наконец такой случай мне представился. Это произошло поздней ночью. Будь я вблизи от своего монастыря, я бы вернулась туда. Бегу куда глаза глядят. Меня останавливают мужчины, я в ужасе. Падаю без чувств от изнеможения на пороге свечной лавки; мне оказывают помощь. Очнувшись, вижу себя на каком-то нищенском ложе. Вокруг меня стоят люди. Меня спрашивают, кто я такая. Не знаю, что я им ответила. Мне дают в провожатые служанку. Иду с ней, опираясь на

ее руку. Пройдя довольно большое расстояние, девушка меня спрашивает:

— Вы, конечно, знаете, мадемуазель, куда мы идем?

— Нет, голубушка, не знаю. Должно быть, в приют для бедных.

— В приют? Разве у вас нет пристанища?

— Увы, нет.

— Что же вы такое натворили, если вас в столь поздний час выгнали из дому? Вот мы уже у ворот приюта Святой Екатерины. Посмотрим, откроют ли нам. Так или иначе, не беспокойтесь: вы не останетесь на улице, вы переночуете со мной.

Возвращаюсь к хозяину свечной лавки. Служанка ужасается, увидев мои ноги: они все в ссадинах от падения при моем бегстве из монастыря. Провожу ночь в лавке. На следующий день вечером снова иду в приют Св. Екатерины. Остаюсь там три дня, по истечении которых мне заявляют, что я должна отправиться в общегородской приют или же поступить на первое попавшееся место.

В приюте Св. Екатерины меня подстерегают опасности со стороны мужчин и женщин. Сюда, как я после узнала, приходят развратники и городские сводницы за добычей.

Несмотря на грозящую мне нужду, грубые по-

пытки соблазнить меня ни к чему не приводят. Я продаю свою одежду и приобретаю платье, более подходящее для моего положения.

Поступаю в прачечное заведение, где нахожусь и в настоящее время. Принимаю белье и глажу его. Работа очень тяжелая; кормят меня скверно, помещение и кровать очень плохи, зато ко мне относятся по-человечески. Муж — извозчик, жена его грубовата, но, впрочем, добрая женщина. Я была бы даже довольна своей участью, если б могла надеяться, что покой мой не будет нарушен. Узнала, что полиция задержала похитившего меня монаха и передала его в руки церковных властей. Несчастный человек! Его следует еще больше пожалеть, чем меня. Его проступок наделал много шума, а вы не представляете себе, с какой жестокостью монахи расправляются за вину, получившую огласку. Тюрьма будет его пристанищем до конца дней. Таков будет и мой удел, если меня поймают; но монах проживет дольше, чем я.

Боль от падения дает себя чувствовать. Ноги распухли, я не могу сделать ни шагу. Работаю я сидя, потому что мне трудно стоять. Тем не менее я страшусь своего выздоровления. Какой я тогда найду предлог, чтобы не выходить из

дому? И какие только опасности не ждут меня, когда я покажусь на улице! К счастью, у меня еще много времени впереди. Мои родственники не сомневаются в том, что я в Париже, и, бесспорно, принимают все возможные меры для моего розыска. Я хотела бы вызвать к себе на чердак г-на Манури, выслушать его советы и последовать им, но г-на Манури уже нет.

Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шуме в доме, на лестнице или на улице мной овладевает страх, я вся дрожу, ноги у меня подкашиваются, работа валится из рук. Целые ночи я не смыкаю глаз, а если засыпаю, то меня мучают кошмары, я говорю во сне, зову на помощь, кричу. Не могу понять, как окружающие меня люди не разгадали еще, кто я.

Мой побег, по-видимому, уже всем известен. Я этого ждала. Вчера одна из моих товарок рассказала мне о нем с добавлением омерзительных подробностей и ряда соображений, способных привести в отчаяние. К счастью, она в это время развешивала мокрое белье и не заметила моего смущения, так как стояла спиной к лампе. Однако хозяйка увидела, что я плачу, и спросила:

— Мари, что с вами?

— Ничего, — ответила я.

— И надо же быть такой дурой, — заявила она, — чтобы лить слезы из-за дрянной, распутной монахини, которая забыла бога, втюрилась в какого-то паршивого монаха и убежала с ним из монастыря. Видно, уж очень вы жалостливы. Жила как у Христа за пазухой, пила, ела, молилась богу и спала. Чего ей вздумалось бежать? Попробовала бы она три-четыре раза пополоскать белье на реке, да еще в такую погоду, тогда бы и монастырь показался ей сладок.

На это я ответила, что, должно быть, она немало выстрадала.

Лучше мне было промолчать, потому что тогда мне не пришлось бы услышать в ответ:

— Бросьте, это просто дрянь, которую бог накажет.

При этих словах я низко склонилась над своим столом и оставалась в таком положении, пока хозяйка на меня не прикрикнула:

— Мари, о чем это вы замечтались? Пока вы тут дремлете, работа стоит.

По духу я всегда была чужда монашеству, об этом с достаточной ясностью свидетельствует мой последний шаг, но в монастыре я привыкла к некоторым обычаям, от которых не могу отучиться. Например, когда зазвонят в колокола, я

крещусь или преклоняю колена; когда постучат в дверь, я откликаюсь: *«Ave»*; когда меня спрашивают о чем-нибудь, мой ответ всегда кончается словами: «да, матушка», «нет, матушка», «нет, сестра». Если неожиданно приходит посторонний человек, я непроизвольно скрещиваю руки на груди и, вместо того чтобы сделать реверанс, низко кланяюсь. Мои товарки покатываются со смеху и думают, что я дурачусь, передразнивая монахинь. Однако невозможно, чтобы их заблуждение длилось без конца. Моя опрометчивость выдаст меня, и я погибну.

Господин маркиз, поспешите помочь мне. Вы, несомненно, меня спросите: «Укажите, что я могу для вас сделать?» Вот что: мои желания весьма скромны — мне нужно место горничной, кастеляншки или даже простой служанки, лишь бы мне жить в неизвестности, где-нибудь в деревне, в провинциальной глуши, у порядочных людей, которые чуждаются большого общества. Жалованье не имеет значения; безопасность, покой, хлеб и вода — вот все, что мне нужно. Будьте уверены, что моей работой останутся довольны. В родительском доме меня приучили к труду, а в монастыре — к послушанию. Я молода. У меня мягкий характер. Когда заживут мои ноги, у

меня будет сил больше, чем нужно для исполнения моих обязанностей. Я умею шить, прясть, вышивать, стирать белье. Когда я была еще в миру, я сама чинила свои кружева и скоро верну себе прежнюю сноровку. Я все умею делать и не брезгую никакой работой. У меня есть голос, я знаю музыку и играю на клавесине настолько удовлетворительно, что сумею развлечь свою хозяйку, если она этого пожелает. Я даже могла бы давать уроки музыки ее детям, но боюсь, что это свидетельство тонкости моего воспитания меня выдаст. Если бы понадобилось причесывать мою хозяйку, то у меня есть вкус, я взяла бы несколько уроков и скоро освоилась бы с этим нехитрым делом. Сударь, сносное место, если это будет возможно, или же любое место — вот все, что мне нужно. О большем я не мечтаю. Вы можете поручиться за мою нравственность; несмотря на всю видимость, я добродетельна, я даже благочестива. Ах, сударь, если бы меня не удержал бог, всем моим страданиям давно пришел бы конец и мне уже нечего было бы бояться людей. Сколько раз я подходила к глубокому колодцу в конце монастырского сада! И если я не бросилась в него, то только потому, что в этом отношении мне была предоставлена полная свобода. Не знаю, какая

участь меня ждет, но если бы мне когда-нибудь пришлось вернуться в монастырь, каков бы он ни был, — я не ручаюсь за себя: повсюду есть колодцы. Господин маркиз, сжальтесь надо мной и избавьте себя самого от долголетних угрызений совести.

P.S. Я изнемогаю от усталости. Ужас охватывает меня, и покой от меня бежит. Эти воспоминания, написанные мною наспех, я только что перечла уже со свежей головой и заметила, что совершенно непроизвольно показала себя каждой своей строчкой столь же несчастной, какой я была на самом деле, но гораздо более достойной симпатии, чем я есть в действительности. Не считаем ли мы мужчин более равнодушными к описанию наших горестей, чем к изображению наших прелестей, и не кажется ли нам, что легче их пленить, чем растрогать? Я слишком мало знакома с ними и недостаточно себя изучила, чтобы в этом разобраться. Однако если господин маркиз, известный своей душевной чуткостью, придет к убеждению, что я обращаюсь не к его милосердию, а к его страстям, — что подумает он обо мне? Эта мысль меня тревожит. Поистине он был бы очень не прав, вменяя в вину лично мне инстинкт, присущий всему нашему полу. Я жен-

щина, быть может, немного кокетливая, право, не знаю. Но это вложено природой и совершенно безыскусственно.